

СИБИРИАДА

ТАИСЬЯ
ПЬЯНКОВА

Таёжная
кладовая
Сибирские сказы

Сибиряда

Таисья Пьянкова

**Таёжная кладовая.
Сибирские сказы**

«ВЕЧЕ»

1962–1995

Пьянкова Т. Е.

Таёжная кладовая. Сибирские сказы / Т. Е. Пьянкова — «ВЕЧЕ»,
1962–1995 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7995-3

Уникальная книга, в которой собраны сказы, написанные Таисьей Пьянковой – настоящим мастером столь редкого в нашей литературе жанра. Вот как отозвался о них С.В. Михалков: «Ваша работа – подвиг писателя. Книги Ваши будут жить, и благодарный читатель их будет перечитывать. Так нужны нам сегодня народные сказы, сказки, былины, песни народные, притчи – всё то, что создавал наш русский народ».

ISBN 978-5-4484-7995-3

© Пьянкова Т. Е., 1962–1995

© ВЕЧЕ, 1962–1995

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Кликуша | 6 |
| Алёна-травяница | 9 |
| Нечистая троица | 13 |
| Таёжная кладовая | 16 |
| Пройда | 19 |
| Оглядкин подарок | 25 |
| Паучиха | 30 |
| Федорушка седьмая | 35 |
| Майкова яма | 39 |
| По Зинке звон | 43 |
| Ведьма | 49 |
| Федунька-самодрыг | 53 |
| Старик-Боровик | 57 |
| Пантелей Звяга | 63 |
| Недолин дом | 68 |
| Миливонщица | 75 |
| Кириянова вода | 84 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 86 |

Тaisia Пьянкова

Таёжная кладовая. Сибирские сказы

© Пьянкова Т.Е., 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

Посвящаю внуку Пьянкову Илье

Кликуша

В стары-то времена к нечистой силе кой-то стороной всякую больницу притуляли. Навроде прокопят её дымком небылицы, чтобы со временем не иструхлялась и до внуков-правнуков дошла в целости-сохранности – не в устрашение умам, а в полноту разума.

Нужды великой не было ходить за надумками по свету. Сами краснословьем могли одарить дорожного человека да и к своей памяти привязать сказанное кем. Вот и выходило: спал Егорий на своем подворье, а шли к нему сны с любой стороны.

Так, должно, и про бабку Кликушу. По травинке да соломинке наскребли копёшку – в навильник не ухватить.

Была она, рассказывают, бабка та, была. В знахарках числилась. Знала, стало быть, силу лечебную всякой травки махонькой. Которой подоспее пора силу свою буйную накопить, бабка за лукошко да в лес-поле.

Видели её люди на той страде травяной; идёт себе тихонько: то сощипнет, то потянет... а сама всё шепчет и шепчет, навроде переключается с кем. За то её Кликушей и прозвали.

На погляд – дело чистое, без колдовства какого. Да людям скучно без чуда-невидали верить в такую хитроумность.

Недолго она зажила в селе. Прибрела Бог весть откуда, убрела Бог знает куда.

Ноне-то у кого порез на персту али где случится – болезнь мизерна, а доктора неделю лялькаются. А было – прахом с дороги, паутиной ли рану залепят, тут тебе и вся лечба.

С большим каким недугом к знахаркам кидались. Куда ж ещё? Коли на всю округу один немчишка ерепенистый врачевал. К нему? Одно дело – вёрсты считать. Другое – деньгу... А тут – чем Бог послал.

Ну, да не всякая бабка печёт сладко. Другая так улечит, что исповедаться неколи. Лекарка такая опосля руками разводит: пришёлся-де Богу ко времени. Что до Кликуши, то эта на особом счету была.

Поглядит было вприщур на хворобу да и уйдет молчком, коли чует слабость свою. Тут уж попа зови – соборовать.

А где попридержится бабка – пойдёт человек, куда болезнь денется!

Жил там же, в селе, дед Соловей. Всё из разных безделушек музыку добывал. Такой, слышь-ка, мастак был по этой части, что и Соловьём-то его не за серость да малость поименовали.

Листок возьмёт берёзовый, тростинку сломит малую аль гребень внучки своей Алёнушки ко губе приладит – тут и сердцу услада. До слёз доймёт, а нет, так ноги сами стоять не велят.

На то и Соловей.

Брежали бабы, что Алёнушка внучкой ему и не приходилась вовсе. А так. Подобрал где-то сиротинушку дед, пригрел от доброго сердца.

Девка в самые невестины года уж входила, а чисто пашенок паршивый: махонька да рябенька. Подружки завсе её секретами-заветами обходили, а что до парней – те и глазами-то её, как сраму, хоронились. Кому такой стручок нужен?

Вот горе бежит, беду за руку держит.

По осени поиграл как-то с Соловьём бычишко соседский в пятнашки, вусмерть загонял старого. До двора только и успели люди донести.

Поохали вокруг сиротинушки, пожалковали, помощь какую ни на есть оказали по похоронам, да и восвояси: чужа забота – до поворота.

Осталась сирота: себе – тягота, другим – издёвка. Заступы на неё никакой. А ведь вот ещё: у всякого латаного полно добра ласкового, да всяк норовит ткнуть туда, где болит.

Как тут жить?

И задумала Алёна сотворить над собой дело богопротивное.

Как вечер к ночи затрусил, убрела она под крутой бережок.

Стоит в сутёмках, мешкает. Хотя горя поверх маковки, а всё голову приклонит к воде – не к материнскому плечу.

Вглубь глянула – спина холодом подёрнулась, страх за горло ухватил: смотрит на неё из воды девица-красавица. Вроде Алёна. Вокруг темь непроглядная, а от виденья того свет исходит. И такая, слышь ты, сила в той девке водяной – глаз отвести не можно.

Всё забыла сиротка: и горе своё, и обиды людские, и страх давешний. Стоит и смотрит.

Тут из-за спины водяницы Кликушино лицо выплыло:

– Чего-то, девонька, припозднилась ты на воду любоваться?

Дрогнула Алёна: сломалась гладь водяная, кругами пошла. Оглянулась – Кликуша рядом стоит, просит:

– Пособила бы дряхлой поклажу до дома донести.

Подосадовала девка, что помешали ей, да тут и забыла. Вскинула бабкино лукошко на руку, следом потянулась, а сама думает: «Ишь, как хитро отвёл мою задумку водяной. Знать, и ему не поглянулась я».

Ну, пришли почём время, печку затопили, повечеряли чем пришлось. Кликуша ряднушку на лавку кинула, подушку суёт.

Легла Алёна как провалилась, ажно сон проспала. Утром проснулась – солнце в полную силу играет, бабка Кликуша у печи ноги мнёт.

Охнула Алёна со стыда, спорхнула с лавки, в преддверии поклоны бьёт, прощается. А Кликуша ей:

– Что ж ты, дитятко, скоро так? Пирогам ли хозяйскими брезгуешь, сама ли хозяйка обидная?

Занеудобилась девка, к косяку припала, лепечет:

– Ой, бабушка! Сладки пироги твои, да честь знать пора...

– А коли сладки, – ведёт старая, – чего ж от них скоком? Садись-тко, поутрай на дорожку.

Села разумница, Кликуша подсовывает поприжаристей да похрумчатней. Пироги-то, к месту сказать, сами в рот просятся.

И то видно, будто со хмельного голова туманится, на сердце весёлость вьётся, и думки никчёмные, что росы от солнца полуденного, испаряются в ясное небо, облачками лёгкими плывут, плывут... Невесть куда...

Уж и голос бабки, сызначала скрипучий, звенит теперь колокольцами серебряными, струнчиками ласковыми тренькает:

– Беда, милая, что вода. Кто не боится в ней помыться, завсегда на люди чистым выходит. А коли шибко глыбоко – не гнушайся голос подать. Авось на крут бережок прибежит верный дружок. И как в сказке говорится: коли девкой окажется – сестрой будет, коли молодцем статным – братцем званным, а коли, как я, старой каргой – тут уж сердешный покой... Ведомая мне печаль твоя. Поделить её надобно да теми долями свиней накормить. Только на дело такое время нужно. Поживи-тко у меня, сколь придётся, а как солнышко тучу скинет, поприглядней будет глядеть, в какую сторону вертеть.

Алёнушка привычна к тычкам да издёвкам. А тут такая ласка сердобольная. Она и разревелась. Уткнулась в бабкины колени, ходуном ходит.

Кликуша гладит её да приговаривает:

– Выслезись, родимая. Выплесни застой. Ослобони душу для веселья-радости...

Так и осталась сиротка у старой. Ну, день живёт, неделю коротает. Там и за месяцем месяц пошли в уцепку. На чужих глазах Алёна не вертится, да и бабка её не неволит, навроде огораживает ещё:

– Любое семя сидит до время. Пора приспееет – зацветёт, поспеет.

Прошла зима за рукодельями разными да избяными заботами. Там и Масленица¹ снега распустила, круто облачко на синеве выткала. Засовалась по оконцам Алёнушка. Слёзы за глазами еле удерживает да от бабки веселинкой отгораживает. Ан старости у младости догадливости не занимать. Между стряпнёй Кликуша и говорит:

– Спорхнула б ты, Алёна, на зелен луг, во девичий круг. За зиму долгую, поди-ка, хрящами косточки поросли. Чего же сидьмя-то сидеть.

Взяла Алёна бабкины слова впослух, приделась и поискрилась на бережок, где девки хоровод водили. Пришла и стала у кусточка бояры кудлатой. Стоит по своей обычности, радуется чужому веселью. Разбежались девки в веселухе и Алёну закружили, завертели.

Алёна ходу из круга не ищет, дивится только: «Откель во мне смелость завелась – с девками в хороводе играть?»

Тут круг раздался, плывёт Алёна посреди хоровода лебединочкой, радуется: отродясь в хороводе ногой не повела, а смотри-тко, получается! Вроде кем гораздым научена.

Наклонила плясунья голову, глянуть, что ноги выделявают, видит: чеботки на ней новёхоньки, убористы. Блестят-переливаются. Повела глазами на себя: сарафан – золотая кайма, звёздами ткан, будто с полуночного неба упали они на голубой шёлк. Гармонист ливенку развёл да и замер, как глиняная безделуха на лавке. А плясовая так и льётся невесть откуда.

Спохватила Алёна. Как ветром сдуло девку с круга. Забежала плясунья за куст, оглядела себя, ощупала: сарафан ситцевый, немудрёный, кацавейка стёганая, да и плат не впригляд... Возвернуться в хоровод уж не решилась. Домой побрела, а сама прикидывает: «Неладное со мной деется, болесть, знать, неведомая за меня ухватила. Сказаться бабушке – полечит».

А старая-то на крыльце Алёну поджидает. Пристально так смотрит, как богомаз на икону. Будто выглядывает, всё ли на месте, всякая ли краска к делу пришлась.

Алёне даже тяжело сделалось.

Остановилась она во дворе, стоит. А Кликуша с крыльца спустилась и пошла вкруг Алёны. Обошла её на раз и молвит:

– Вот и пришла пора – убираться со двора. Зажилась я тут с тобой, замешкалась. Коли спросят про меня, скажи: «За травой убрела, мол, старая, и не возвернулась ко времени». Не ищи меня и не тужи шибко. Одна не останешься. Суженый твой с восхода – в воду, с заката – в хату. Умом не зови – сердцу верь. А я тут всегда...

Огляделась Алёна – нет никого.

Жутко стало. Потом одумалась. В хату кинулась.

А там сарафан голубой с золотой каёмкой на половицы брошен. Поверх обутки те, что Алёна на себе в хороводе видела, стоят. Будто кто суматошный убрать не успел...

¹ Масленица – неделя перед Великим постом: понедельник – встреча; вторник – заигрыши; среда – лакомка; четверг – широкый, разгульный; пятница – тещины вечерки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье – проводы.

Алёна-травяница

В народе говорят, что жизнь – она своенравная штука: кого по головке гладит, кого вза-шей ладит. Выкамурирует над человеком как поглянется. Да мы ей и сами в том наипервые пособники.

Так-то и с Миколкой пошутковала судьба-злодейка.

Не впусто людьми молвится: бежит вор в бор, а выбегает, знато, туда, где взято...

В каких землях доселе Микола мотался, чего нахватался, – один Господь ведаёт.

Только деревня поперва приняла его за доброго человека: живи, хозяйствуй.

Мужик оказал себя дельным. С виду рыж, как пыж, да знал, знать, кого бодать.

Поди-ка и дале понукал бы паря, да Алёна-травяница кликушинская ухабиной на дороге его подвернула.

Треснуло колесо Миколино, а вычинить охота не приспела.

Засмотрелся гусь на гагару, память вышибло – в какую сторону хвост вертел.

Вот те и жених!

А то бабы жалковать было собрались Алёну: одна и одна, как былинка в поле: службу есть кому служить, да не к кому голову прислонить.

Парни, которые, бывало, глаза мозолили об Алёнкины оконца, поотстали со временем, обмужиковались, детей повывели. А она всё ходит в девках.

А девка, не худо сказать, вызвездилась ясной звёздочкой, выпрямилась да вытянулась. Рябинки с лица как крылышком кто смахнул да курам горсткой вышарнул.

Да, умна Алёна сладилась. Днями по лесам бродила, потёмками по книжкам пальцем водила – грамотой тешилась.

Ну, дела! Люди на неё рукой махнули, во лбу покрутивши: жена учёная что вода толчёная, сколь ни пестуй, одни мозоли на персты.

Потому никто Миколу дорогу не заступил, охотки не пресёк. Однако сумлевались: «Лови, пайчик, солнечный зайчик...»

Так и пристал Микола к селу, как ветка к помелу.

Живёт. Хозяйством обзаводится. Ждёт, когда с Алёны кураж схлынет. Тем временем и приметил его купец один. Ну, тот, который лес откупил для поруба. К себе зазвал и величает:

– Мужик ты подходящий. Цепкий, вижу, мужик. Мне такой позарез нужен. Подь ко мне на лесопилку начать.

Микола замялся поперва, как жмот на ярмарке, цену поднял. Да где ж отказаться, когда у того лесозавода вся округа кормилась? Вот и прикинь, кем Микола становился?

– Испыток, – говорит, – не убыток. Бери, коли поглянулся.

Заделался рыжий наипервым хозяйским советчиком, наипервейшим подсобщиком.

Захухрынился, забекренился: фу ты, ну ты, лапти гнуты!

«Ну, ну, – думаем. – Петушился, кочеток, поерепенясь чуток. Поершился, кочет, покуль силку² точат».

Алёна-травяница тоже диву далась: «Гляди-тко! Поганкой вынырнул, да боровиком вывернул».

Микола пуще того в пыжню ударился. Окромья тыка да крика никак не здоровкается.

Видит хозяин такое дело, вовсе на Миколку заботы посбросал: сам себе гостем заделался.

Одна только забота у рыжа: хата без хозяйки чужа.

Алёна хоть и подаряет Вовку бровкой, а всё не запомнит бабкин сказ: «Суженый твой с восхода – в воду, с заката – в хату. Умом не зови, сердцу верь».

² Силка – охотничий нож.

Ну, так, знамо, лето за зиму, зима за лето...

Позаряла как-то Алёна по траву-мураву за поскотину, в лягу заречную. Солнышко только рожки над землёй выставило. Спустилась она к воде, бродом пошла. Ноги ставит кошкой по склизким камешечкам – где не оступиться.

Добрела Алёна до середины, тут впереди и плеснуло. Глядит, чужак с берега в воду ступил. Жуткий мужик: бородой, как пырьём, порос, космы не прикрыты, рубаха – слава одна: латка на латке – хозяина нет, одни постояльцы.

Метнулась было девка прочь, да вспомнила: «С восхода – в воду». Пошла навстречу. Поравнялась, охнула:

«Выходец с того свету!»

Поманила Алёна мужика за собой. Хоронясь, домой привела. На сеновале уложила, за молоком в сени побежала. Скоро возвратилась. Спит мужик. Так натошак и проспал до вечера. А глаза развёл: девка рядом сидит.

– Куда это я забрёл? – спрос ведёт.

Алёнушка всё ему обказала.

– Зря ты, девонька, озаботила себя, – печалится мужик. – Каторжный я. Суета тебе будет великая, коль не спровадишь меня до ночи.

– Куда ж этакий пойдёшь? Пропадёшь. Лежи давай. Хатка моя мала, да хорошему человеку места хватит, и в обиду не дам.

Улыбнулся мужик девичьей речи, однако остался.

Принесла Алёна ужин. Ест мужик да на хозяйку глядит. Она речь ведёт про свои дела, а сама думает: «Сколь легко-то мне говорится, сколь ладно мыслится. Праздник в груди веселится, глазыньки смехом полнятся».

И мужик не томится. Вот и засумерничались они до звезды. Алёна пресекла себя на памятке: «Баньку б стопить».

Выскочила, побыла сколько-то, скоренько обернулась. Тут села. Опять говор ладят.

Вовсе как запотемняло, помылся Артём в бане, в хату ступил. «С заката – в хату», – вспомнила Алёна.

Окна покрепче девка занавесила, гостенёчка на печи пристроила, сама на лавке прикорнула.

Не идёт сон, не быстрится; голова думами полна: «Умом не ищи – сердцу верь».

И поверила Алёнушка сердцу своему: полюбила она мужика бездомного. Ни двора у него, ни кола, ни одёжки, ни денежки, а куда денешь-то?

И он не спит на печи. С боку на бок перестраивается, вздыхает.

Слышно-то Алёне, и радостно, и боязно, и тает ретивое, как масло на шестке. И солнца хочется скорей, и ночь желанна, и бежать-лететь хочется, и пальцем шевельнуть нету сил...

Утром Микола рыжей заказал работу на лесопильне, места проглядел, людей пересчитал – всё ладно. По селу запылil. Мимо двора Алёниного туда-сюда прометнулся, через плетень перегнулся. Хозяйке поклон отвесил, ладит ответ принять. Да Алёна чего-то не та: светится вся, да не про него тот свет, смеётся, да не вчерашним смехом. Каким-то непонятным.

Побрёл Микола прочь, а сам рыжей башкой мотает, дивуется: «Блажит девка: глазом ластит, а хвостом застит. Ну, доберусь я до тя, увёртыш».

Ко полудню урядник на село прикатил с парю лихих удалцов. Зашмыгали они по дворам. Выспрашивать почали о побродяжке. Того, другого пытаются:

– Не видали?

Люди руками разводят...

Сник урядник, Миколу наказывает:

– Смотри в оба, начальник. Смутотворец он. Кабы завод не подпалил. Коль дознаешься чего – ко мне мигом. А то сам хватай бродягу.

Защёлкал законник кнутом, а Миколку суета одолела: все дворы вынюхал, все закоулки выслушал – никем не слежены. Притух малость. Опять жениховство справляет.

Сидит ввечеру Микола за Алёниным плетнём, комаров с шеи сшибает. Летний вечер мешкотный: до зорьки тени тянет. Как вовсе смерклось, собрался Микола до дома. Тут девка на грядку выбегла, сощипнуть чего.

Вот она, рядом. Рукой достать.

Не стерпел Микола, выпрыгнул из-за прясел, ухватил девку.

Та вывернуться не торопится, ласково говорит:

– Брось, Артём. Пошли ужинать.

Микола руки сдёрнул:

– Кой Артём, сказывай!

Напирает так-то на девку. Видит Алёна, оплошка вышла. Однако не струхнула, не завертелась. Стоит спокойнёхонько, смеётся:

– А тот самый, которого ради ты всю округу взял. Как же боишься-то, погляди-тко.

– Чего мне бояться? Вот гукну урядника, упекут твою хахалю в Александровский, да и ты заодно, вертихвостка!

– Ох, ох, погодь, Миколашка. Не замай! Не то худо не переплачешь.

Видит Микола – потерял вовсе девку. Заметался по двору, кол из плетня выправил да в хату.

Заступила Алёна Миколу путь. Во зло-то на неё Миколка попёр:

– Говори, кудла травяная: где вора ухоронила? Убью, такая...

Махнул ерепёня колом, да чуть не упорхнул долом: в руках его и не кол вовсе, а травинка зыбкая. Перед ним бабка чёрная. Стар-стара. Шуршит, что сухая трава под ветром:

– Вот и пало встренуться лицом с подлецом. Знать ты меня не знаешь, ведать не ведаешь, да я давнёхонько к тебе дело пытаю. По белу свету ходяша, тако, как ты, дерьмо глядяша. Слухай в оба уха: и тут я, и там я, и наградой я, и расплатой я. Из-под камня гляну лежалого, из-за лесу встану стоялого. Всё мне впамятку. Наскрозь вижу, вижу наскрозь. А ну, держи порты да кружай верты! Духу твоему чтоб до утра не чуяла. Не сгинешь, так сгниешь, не спляшешь, так прахом ляжешь.

Завертелся Микола, что пёс за гузкой, шмыгнул за прясла, ажно подсолнухи застучали. Протопал улкой, на повороте обернулся: стоит на крыльце Алёнка, статная, в голубом сарафане звездчатом, и пальцем мотает.

Одыгался кой-как Микола, ночь передрогал, утром барахло в перемётную суму скидывать принялся, тут урядник застучал в ворота:

– Эй, пара простю!³ Отворяй дворы гостю.

Обрадовался рыжий уряднику, за стол усадил.

А когда по доброй выпили, Микола ему и поведай о девкином наказе: за любовь, мол, велела колдунья поутру манатки сматывать. Про Артёма умолчал-таки. Докумекал законник, что к чему, пузом раскололся:

– Ох, ух! Уморил ты меня, дубина стоеросовая. От усердия шибкого умишко вышибло?

Обидно то Миколу показалось, он и ляпни:

– Упреждала бабка не замать Артёма. У девки-травяницы хоронится каторжник.

Смолк урядник, ногой двери вышиб:

– Пошли!

Только к избе Алёниной подступили, хозяйка встречу идет. Принаряжена в голубой сарафан с золотой каймой, на ногах обутки царские.

– Тут он, тут Артём. Проходите, гостеньки дорогие, об притолоку не стуканитесь.

³ Простя – глупый человек.

Сама вперёд ладит, гости за ней.

Урядник с ходу пашку выпужнул, да, пропустивши вперёд Миколу, за косяк зацепился и раскорячился в дверях, как вошь в гребешке: руками машет, а дале не пляшет. Онемел скоро.

Артём с лавки привстал, поклон гостям отвесил. Стоят гости как кол проглотили.

Алёна тем временем образа с божницы приняла, на лавке у окошка пристроила.

Чудится рыжому: растут образа, ширятся. В рост человеческий поднялись, да и распахнулись настезь.

– Ну, – говорит Алёна, – поплялился ты на меня довольно! А что не послушал вчерашнего наказа, сам виноват. Не взыщи.

Взяла Алёна суженого своего за руку и пошла в те створы образовы. Не успели они захлопнуться – урядник от косяка отлип.

– Что глаза раззявил, тетеря? – заорал он. – Догнать их!

От тугого кулака в загривок Микола перемахнул разом избу, налетел с маху на образа, и нате...

Образа-то застеклёнными оказались. Микола через подоконник на улицу свесился, выхлестнул напрочь стекло оконное.

– Где девка? – тормозит Миколу урядник. – Где каторжник?

Мычит Микола, ладошкой нос зажавши, кровью на стороны мотает.

– Упустил, губошлёп рыжий! – воет урядник. – Ушли огородами! Через окно ушли! Ну, ты у меня теперь попляшешь...

А как не «попляшешь», когда рыжий нос стеклом отсёк, самую дыбку как ножом срезало.

С той поры и стал Микола гнить. На глазах сгнил мужичонка. От носу пошло.

Так-то оно бывает.

Нечистая троица

В деревне, в Красном Яру, на отшибе у самого оврага избушечка малая невесть с каких пор место заняла. Оконные рамы у той избушки повыгнили, иструхлились все и вывалились вместе со стёклами. То ли сами выпали, то ли ребятня помогла? А только как начнёшь подниматься из оврага в село, так и уставятся на тебя те дырки избушечные, словно пустые глазницы.

Недавно избёнка совсем завалилась. А бывало, кто трусоват да греховат, обходил ту постройку бесприютную.

Хорошо людям помнится: жили в той избушке три бабки. Все три вровень ростом, и сединой, и глазами.

Сельчане судачили, что те бабки родней друг дружке приходились: кто-то из них внучка, кто-то – дочь, а третья – бабушка. Разберись тут, кто из них над кем стоял, когда они уж и сами запамятовали.

Злой язык как-то назвал их нечистой троицей, назвал, как с размаху прилепил. Разное болтали. Кто соврёт, кто подкинет, а кто раздует.

Вот и выходило: могли они в единый миг в кого угодно оборотиться. Хоть в зверя лютого, хоть в рыбку золотую, а то и в птицу, ай в красну молодницу. Одна ль из них, все ли трое бесовским ремеслом тешились – про то врать не врани, не знали.

Да и, правду сказать, никто от тех старух лиха не имел, и людей, коим печаль-горе от них прилепилось, видеть никому не приводилось. Но слыхом народ слыхивал про одну такую тяготу.

Жил в Красном Яру Аверьян Никитич. Богач – не богач, а мужик зажиточный. Домино имел крестовый, тёсом крытый. Забор округ – рукой не дотянешься, кобель на цепи, что зверь, матёр. Ко всему, жеребца выездного держал мужик. Крепенько жил и до наживы лют был шибко. Бабу свою за работой уморил, еле ноги переставляла.

А и недалеко от того Аверьяна, почитай, в суседстве, вдова Бараниха горе мыкала.

Род ли удался хворый сам по себе, Господь ли за что прогневался да перстом в них сунул лихой минутой – неведомо. Только первым мужик на тот свет ушёл и двери распахнутыми оставил. Годом поспешили за ним два сына и дочка, все на возрасте. Осталась Бараниха с ребятней. Старшой давно уж в ту дверь заглянул, собратся только осталось. Другой мальчонка – на двенадцатом году – хворый же, последняя девка и того меньше.

А баба-то работяща да красива. Сколь горя ни перенесла, а всё не клонится. Не зря говорят: горе любит песни слушать. В песне, знать, и Бараниха слёзы прятала. Любо-дорого на такую поглядеть.

Вот и наладился Аверьян ко вдове в гости с полдороги завертать.

Посидит, zenки потарашит, поумничает об чём не нужно, потом и схвастнёт при народе чёрт знает что.

Баранихе за делами-заботами жалко попусту время кидать. Кто что донесёт на неё, она только отмахнётся: мели, мол, Емеля, – твоя неделя.

Всё б ничо, да припожаловала ко вдове жена Аверьянова, принародно охаяла. Бараниха после того и покажи гостю помело: по чину и дрючина!

Вдова-то вскорости забыла про то.

Аверьян же думку пакостную затаил.

Однако дело к весне близилось. Об ту пору скуден стол у голытьбы. Какие запасишки с осени уготованы, к весне вовсе поветрились.

Тут ещё у Баранихи старшой слёг. Билась баба, билась. Дошло до того, что куска в доме не осталось. К кому с пустой котомкой сунешься? Кругом – голь перекатная. Всяк с хлебом впринюх пци пустые хлебает. А к богатею – зазря ноги мозолить.

Да и Аверька, злыдень бессовестный, подговорил, кого подоступней из богатых, не давать Баранихе в долг. Как горе-нужду обмануть?

Голод – не тётка, кукиш не покажешь. Пошла-таки горемычная к Аверьяну.

Мужик только того и ждал.

– Отдай, – говорит, – сына своего меньшого мне в работники – двор где прибрать, воды принесть. Баба-то моя, сама знаешь, велика ли помощница? Коли так – дам пуд муки, нет – и суда нет.

Пока вела Бараниха парнишку к Аверьке, всю дорогу слезами улила. Тот муку наготове держит. Знает, демон, нет у бабы другого выхода...

Взяла вдова муку, домой принесла. Вязку распустила, щепотку на язык кинула. Ан мука не пригодна для стряпни – керосином попорчена.

Она в обрат:

– Пошто ты мне, Никитич, карасиновой муки наскрёб?

Тот и отрубил:

– Сама муку испоганила. Забирай и уматывай!

Бросила баба ту муку у супостата и пошла домой. Идёт, свету белого не видит.

А путь её – мимо той самой постройины, в коей нечистая троица жила. Глядит Бараниха: одна старая через дорогу быстрёхонько семенит. Бабе и не к уму... Мало ли кому среди бела дня приспело пробежаться.

Подошла вдова к тому месту, где дорогу бабка перетрусила, глядь-поглядь, лежит на дороге золотой. Охти мне!

Из богатых кто вряд ли золотой упустит, жадны, крепко деньгу держат. А бедных-то золотые и во сне обходят. Да и место видное, проходное.

Вдова золотой подняла и стоит. Боится этакое богатство в дом нести. А тут старушонка назад торопится. Бараниха к ней.

– Не ты ль, – спрашивает, – сердешная, золотой здесь утеряла.

Старушонка приняла монету, покрутила в тощих ручках да и молвит улыбочиво:

– Тут не один золотой.

И разделила деньгу, как расколупнула с ребра.

– Бери, – говорит, – добрая душа. Тебе судьбинушка твоя горькая улыбнулась. Может случиться и такое, что призовет Господь твоего старшого, так будет на что проводить сынка, да и на обзаведение кой-чего выгадаешь. А меньшого к нам пришли, полечим, может.

Вернулась Бараниха домой, а оно и правда: помер старшой-то.

Ну, обрядили, как могли, и снесли на покой.

На другой день купила вдова муки, отнесла Аверьяну. Молча на лавку кинула да парнишонку за ручонку... Тот зубёнки скалит – радуется матери.

Вскорости совсем приободрилась баба: пацанёнка с девчонкой придела-приобула, сама кое-чем отметила свою удачу и старушек тех не забыла.

Аверька только глазами хлопает: откель у бабы деньга завелась, с какой такой сырости? Мечется по дворам, народ с панталыку сбивает.

– Крадено, – говорит, – у неё это!

Ну, люди-то Бараниху давно знают, не верят наговору.

Нашлись всё-таки подсевалы, с расспросами к бабе подались.

Она возьми и отшутись: из муки, дескать, карасиновой золотой выудила.

Тут Аверьяна за живот ухватило. Прибежал ко вдове, орёт, слюнями брызжет.

– Отдавай, – кричит, – золотой, не то живём в землю законопачу.

Ну, вдове делать нечего, обсказала всё как есть.

Аверька ко старухам-то и заявился.

А бабки будто его век ждали, забежали, засуетились:

– Садись, Никитич, сказывай, с какой нуждой к нам припожаловал.

Тот и ляпни:

– Выкладывайте, которая из вас золотой делить может.

Старухи руками разводят, друг на дружку поглядывают. Вроде бы разобраться не могут, об чём гостенёк речи мудрёные заводит. Видит мужик: толку не жди – выкамуривают над ним старые. Гаркнул Аверьян, ажно стёкла в окнах созвякнули:

– Ах вы, коряги болотные! Сказывайте, как золото делить, не то я вас в церкви анафеме предам.

Те и суетиться бросили, насупились. Потом одна выступила вперёд да и говорит:

– Угадай, Аверьян Никитич, которая из нас кому бабкой приходится, а то мы не разберёмся, кому твою заботу решать. Не ошибёшься – научим золотым премудростям, нет – последнее спустим, голодранцем по миру пошлём.

Аверьке-то шибко охота золото, сидя над мошной, добывать. Стал он в лица старухам вглядываться. А сколь ни гляди, всё получается: с одного образа три бабки леплены.

Была не была! Ткнул мужик перстом в ту, что ближе оказалась.

Мотнула старая сединой – и стала перед ним девка красная.

Аверьян сглуба в другую палец протянул. Глядит, и та девкой обернулась.

А третья и приглашения ждать не стала, сама вышла красавицей писаной.

Мужик глаза развёл, окосел, попятился, задом дверь вышиб – да дёру.

Бежит по селу, будто бы за ним собака гонится, рот раззявил, орёт, видно, да голосу нет.

Прибёг домой, у двери ляпнулся и заснул мертвецки.

Дня три дрыхнул Аверьян. На четвёртый проснулся с петухами. Ничего ни про кого не помнит. А страсть как вспомнить нужно. Голову стал ломать.

Сколь ни перекидывал мозги – всё впустую.

Неделя, другая прошла.

Забросил мужик хозяйство, сидит и думает. Вроде начнёт в голове проясняться, тут опять как туман наплывёт.

Баба его плачет, убивается. Да что с тех слёз толку? Так от думы и загинул Аверьян, стал быть, Никитич.

Таёжная кладовая

Все рассказчики мудрёные, да редко который сам про себя... Такое порой нагородят – ума не приложишь, где правда конец свой упустила, а где небыль подхватила его.

А всё верится после байки такой: живы на земле ещё чудеса-невидаля, только не всякому они навстречу идут. Поверить надо в чудо или, наоборот, вовсе рукой махнуть на тайные дела природы нашей, тут она и явится, невидаль-то.

И не так вот, как человека видишь: поглядел да пошёл. А уж повстречавши кого, крепко спросит: кто ты? И ведь не соврёшь ей, не выкрутишься. Знает она, перед кем на дорогу выходить. Потом уж одарит всякого по своему усмотрению.

В старые-то времена, сказывают, наезжал в таёжные края купец Афиногенов. То ли Томской губернии, то ли ещё откуда нечистая его к нам насылала? А только больно приглядлив был тот Афиноген по купеческому делу своему. С виду посмотреть на него, чисто поганка недельная. Пряма-таки плюнуть не во что. А жаден да хитёр был, собачий хвост, ну хоть ты святых выноси. Особенно шибко Афиноген за соболем ноздрей тянул.

Дознается, где поболе кусок ухватить сподручней, в гости того охотника зазовёт, лисой прикинется и ну потчевать.

Оно, пьяного-то, куда проще облапошить. Глядишь... и обошёл мужика. За спасибо всё подскрёб начисто. Тот и опохмелиться не успеет, как в кармане ветер гуляет. Афиноген сунет ему там муки сколько-то, товару какого, пороху, дробы и приговаривает:

– Смотри, паря, бей зверя в глаз. А то что ж за товар? Да приготовь поболе на обратный мой приезд. Тогда и рассчитаемся за добро моё.

Мужики диву даются: как так получается? К бумагам Финогеновым сунуться – там всё чисто да гладко расписано. А какой навикнутый в грамоте подвернётся да умом станет на купца напирать, так умнику тому начальство местное хвост приступит да каторгой грозит.

Были и посмелей. Домогались правды: прошение там, жалобу напишут... Только где она, правда-то, объявится, коли купцом все власти куплены?

Так и сходило всё лиходею с рук.

Дознается было о недовольствах, выйдет на народ, хорохорится: я-де всех вас тут товаром пользую, всех кормлю-одеваю. Без меня бы ходили голыми. Креста на вас нет!

Лет этак пять, а то и того боле, обобирал наш народ мироед трухлявый. Под конец вовсе обессовестил, орать начал:

– Все вы тут у меня в долгах, как в шелках! Мне одному и должно зверя носить! На сторону куда – и думать забудь!..

Один год больно добычливый удался: соболя прямо-таки сами шли под выстрел. Вроде кто из тайги гнал их на охотников. «Ну, – думают мужики, – на этот раз откупимся от Финогена!»

Где там! Всё заграбастал, окаянный! Люди опять только руками разводят.

Тут и объявился Ефимка-охотник. Такой, глянуть, кедр! Идёт – земля под ногой гукает. Волосом рус, зубами бел, глазом смел да востёр! На кого поглядит, тот язык зубами прищёлкнет да крепко держит. Откуда такой? Раньше-то и в глаза его никто не видел. А говором да повадками – свой. Всех поименно кличет. Будто отродясь между охотников силу свою буйную копил.

Дня три меж людей разговоры слушал нерадостные, цены на зверя, купцом положенные, распознал да и явился сам к Финогену поганому.

Кинул Ефимка перед купцом штук этак двадцать соболя отборного, голубого с серебрянкою, дымком так это вроде таёжным подёрнутого; у купца от жадности дух перехватило.

– Где, – спрашивает, – бил-добывал?

А Ефимка ему отвечает в приговор да с ухмылочкой.

– Где, – говорит, – был, там и бил, а где побывал, там и добывал. Бери, купец, не мешкай, пока в другое место не отнёс.

И цену назвал до того мизерную, что охотники, которые близко случились, косым глазом на Ефимку уставились.

«Ишь ты, леший зубастый, – думают, – добряком да свояком прикинулся. А на вот тебе! На нет цену на соболя собьёт».

Даже Финоген диву дался.

«Ну, – прикидывает, – парень по молодости своей, видно, совсем цены соболю такому не знает». А сам себе на уме. Брови сдвинул и попёр во весь опор на Ефимку.

– Ты, – шипит, – шатун-бродяга, как сумел столько соболя один добыть? Не можно столько одному-то. Держи передо мной ответ: кого ограбил-погубил?! Я тебя за грабёж да разбой потяну куды надо!

Ефимка ничего... не сердится. Хитро так на ерепеню поглядывает да посмеивается, будто жадные струночки в купеческом нутре перебирает.

Совсем Афиноген взбеленился. За властью стал мужиков посылать.

Те вроде к дверям... Да куда там! Повёл Ефимка глазом, они и присохли у порога, прямо рукой-ногой двинуть силы нет.

Повернулся Ефимка к купцу и говорит:

– Ай, купец-удалец! Чего ты скачешь, будто блохи тебя колют? Народ беспокоишь попусту. Правду-то сквозь хитрость да брёх разглядеть – не ох! Да вот хватит-то её ровно на столько, чтобы глаза тебе протереть да на чистую истину глянуть. У моего батюшки в таёжной кладовой такого добра видимо-невидимо припасено для добрых людей. Может, у тебя, купец, охотка имеется сходить-поглядеть? Тут – рукой подать.

От жадности Финоген и про себя забыл. Шубу на ходу напяливает, в рукав попасть не может никак.

– Веди, – хрипит, – меня в свою лесную кладовую. Ежели не брешешь, всё сполна уплачу.

Обмолвился купец так-то, Ефимка и пошёл за дверь. В спешке Афиноген и про ружьишко своё забыл.

Мужики некие увязались следом.

Тоже ведь любопытство осторожность побороло. Страсть как захотелось поглядеть на Ефимкину кладовую.

Вошли в лес. Тут смотрельщики-то незваные потеряли из виду Ефимку с купцом. Вроде как заблудились маленько.

А Ефимка идёт своим делом по тайге, песенки насвистывает. Ровно да неторопоко вышагивает. Афиноген же тот, сколь ноги ни подгоняет, всё за парнем успеть не силён.

Долго так шли. Узрел купец, что лес перед Ефимкой сам расходится: где ступит, там дорога наезженная. Купчине же всё бурелом да валежник под ноги подоспеть горазд.

Струхнул Афиноген. Видит, дело тут мудрёное! Загоношился:

– Куда ты меня, к чёрту, ведёшь? Где твоя кладовая?! Шутишь, брат! Не пойду дальше! Сам ко мне своё добро приволокёшь.

Остопился Ефимка, повернулся к купцу: глядит на купца медвежья образина, очами ворочает.

Афиноген со страха глаза руками захлестнул. Подождал, что будет, и отвёл от лица ладони.

Стоит он один-одинёшенек среди тайги дремучей.

Плюнул купец. В сердцах корягу сапогом саданул. Заохала та коряга, зашевелилась и поднялась со хвой стар-старичком.

Сед старичок, борода голубым отликает, искорки серебряные на бороде вспыхивают, во рту трубка-берестяночка.

Опомнился купец, бежать кинулся. А старичок ему вдогонку:

– Куда так торопишься, честной купец? Ишь ты какой оказался зобастый: ни прощай, ни здравствуй! Сынок мой надысь сказывал мне, что охота к тебе припала мою таёжную кладовую поглядеть. Гляди, коль нужда доняла. Денег я не беру за гляденье, только не ослепни, купец.

Упредил так-то старик купца, сам трубку в рот – и задымил. Валом повалил тот дым трубчатый. Голубой весь, с искоркой! Чисто мех соболий, самый дорогой!

С виду получается, что лес горит, да гарью не пахнет. Скоро ветром потянуло. Разошёлся помаленьку дым тот трубчатый, а кругом!.. На деревьях, на кустах разных шкурки соболей, лисы, куны да прочие какие поразвешаны! Ну как есть лесу не видно.

Купец и про страх свой забыл.

Кинулся купец те шкурки собирать, да на кось, выкуси! Какую рукой ни схватит, та в зверька обернётся – и нет его.

Совсем одурел Финоген: на кусты-деревья бросается безо всякого толку, ругается на чём свет стоит. Всё на себе прирвал-прикончил. Одне отрепья болтаются.

Тут на кусту медвежья шкура подвернулась. Со злости купец хватил её кулачищем. Перед ним и поднялся медведь дыбком! Идёт, на купца зубы скалит, вроде как знакомо ухмыляется.

Купца пот холодный прошиб. Куда деться? Каюк бы ему! Да в ту пору натолкнулись на него мужики, которые навязались было на таёжную кладовую вместе с Афиногеном поглядеть. Пальбу подняли. Убежал косолапый. Кинулись мужики к Афиногену, да лучше бы и не видеть его вовсе. Успел-таки топтыга купца погладить. Так со лба всю шкуру и стянул. Оба глаза ненароком прихватил.

Выжил, сказывали, купец тот. Слепым только на всю жизнь остался.

Говорил он людям про Ефимкину кладовую, да люди на него только рукой махнули: свихнулся, мол, купец со страху, а может, от жадности.

Пройда

Раньше было как? Только заметили в человеке какую-нибудь необъяснимость, тут оно и есть – колдовство!

К мужику какому боязно пристроить такую приладу – он уж постарается рыло-то выдумщику занавесить блямбою потяжелей! Ещё и вперёд накажет: ходить-то, мол, ходи, а хреновину не гори!

Не всякая и молодайка покорится ведьминому званию. А вот старухи – самый что ни на есть подходящий для этого страху матерьял. Только вздумай пустобрёх зацепить языком такую бабку, глядишь, уж она и сама почуяла в себе что-то заветное. Уже и к лечебной в ней способность проклюнулась, и присушивать-привораживать годна, хоть воробья к вороне...

В тайном колдовском ремесле старухи одна другой не мешали – каждая служила по своей особой статье.

Иная бабка посадит, к примеру, порченого на порог избы, голову ему нагнёт, поставит на затылок ковш холодной воды, от хозяйки примет плавленный на печи воск и струит его из кружки в воду. А в ковшу шипит, бормочет...

– Слышитя! – строжится бабка. – Ет нечистая сила серчат, почто как чичас узрим мы её поганую образину!

Враньём бабка врёт, а в тёмной да тихой избе людям и вправду кажется, что из ковша исходит сердитое недовольство!

Из того перелитого в ковш воску получалась такая образина, что глянь на неё нечистый – сам бы со страху испортился.

Знахарка же, бывало, суёт стряпню свою леченому в лицо да пытается:

– Свинью супоросную видал?

– На той неделе.

– А петуха на заборе?

– Ещё летом.

– А собака на тебя брехала?

– Так она на то и собака, чтобы на всех брехать.

– Я, милай, покуда про ты одного спрашиваю!

– Что ж ей не брехать, у неё морда не завязана.

– Во! – скажет со значением лекарка, поднявши палец. – Ето чёрт кидался на тебя в собачьем образе. Он же, рогатый, и петухом тебя обкричал.

– И всё разом вылилось?!

– Дык ведь я, милай, не как другие. Я порченого человека одним заходом лечу...

Некоторые старухи умели зазывать былую любовь! Брошенную мужиком бабёнку такая старуха поднимет сонную среди ночи и ведёт в холодный летник. Там велит ей волосы распустить, стать на колени лицом к отворённой печной дверке. Тридцать три раза кричать следует нужное имечко, чтобы через трубу на улице было слышно: «Ми-ки-фор-ко-о-о!» или «Сте-пануш-ко-о!». Слышь, мол, кто тебя зовёт?!

И ведь хватало терпения! Одна у печи всю ночь орёт, другая на лавке дремотой сидит мается, вздрагивает да крестится на зычный голос. И посмеяться-то на них жалко.

Таких лекарок и в голову не приходило никому ведьмить. Никто никакой боязни к ним не чуял. Наоборот. Утром мать там али бабка блинов на стол набросает, ребятишек накормит и суёт которому-то из них тёпленький узелок в руку:

– Вам на речку мимо Ниловны бежать, запорхните к старой. Пушай-ка свеженького пожует, дай ей Бог здоровья!

Да-а! Эти лекарки были выдуманы для добра.

Но случались могутки и другого пошибу. Не жили они и дня, чтобы хоть малого вреда не причинить ближнему. Либо корову у соседа сурочат – молока не даст, либо килу посадят дотошному мужику, чтобы не подъелдыкивал, где не просят. Бывало, и молодуху сглазят – родит без времени...

Пакостили, одним словом.

Может, сами они и не хотели бы зловердить, только по сатанинскому ихнему уставу бездельники шибко строго наказывались. А уж, не дай Бог, которой в голову взбредёт ещё и добро человеку сделать – сразу жизни лишалась и определялась сатаной на вечные муки...

Оно и понятно. Таких колдовок народ боялся. Ежели кто и поздоровкается с такою ведьмою на улице, скорейча торопится домой отрещиваться: кто знает, каким глазом поглядела старуха в ту минуту?

Но и злыдни эти могли творить погань не всю подряд; им был определён сатаной каждой свой удел и значение. Кто сватов от крыльца поворачивал, кто град на поле называл, кто разлуку творил...

А вот бабка Пройда была неудобна для людей тем, что, наступи ей в горячий след ногою, – непременно с кем-нибудь подерёшься или поругаешься до злобы. Порою такая вражда разгоралась – деревня на деревню шла! Так ли стервенели, что и себя не помнили. А разобраться – даже чоух собачьего для ругани не было.

И никакой охоронки от Пройдиного следу люди не знали, поскольку с приходом темноты становилась колдунья невидимой и ходила, где хотела и перед кем ей вздумается.

Ради такого удобства она раз в году на поганом пустыре варила для себя колдовское зелье. Разливала его по склянкам и хранила при себе. Когда надо, отхлебывала по глотку и становилась невидимой. Так и ходила она воздухом по деревне да слушала людские разговоры.

С молодости в ней такое началось, с девичества. Сперва народ думал, что парни, потасуясь, красоту её поделить не могут. А когда она замуж ни за кого не пошла, сообразили, что неспроста гордыня её одолела.

Тогда стали сходитьсь всей деревней – Пройду ловить. Да только из благой затеи опять же война получалась. Если бы знать, когда Пройда варево затевает, какой колдовской ночью поганит она душу свою сатанинским делом, тогда бы можно было подкараулить старую и плюнуть ей в глаза. Если угодить без промаху, нападёт на Пройду куриная слепота: целый год не видеть ей в темноте, сидеть дома слепым сиднем. И тогда целый год не было бы в деревне драк, и даже ругань бы ни у кого не получилась.

Но Пройда, видать, боялась быть пойманною на пустыре, поскольку парни, которые пытались её укараулить, всё делали только во вред себе.

«Чёрт с нею, с Пройдой! – решили люди. – Лучше не трогать».

Но хвост репья не ищет.

Как руки ладонями сложить, так тесно со двором Пройды стояло подворье Броньки Сизаря. Жена у Сизаря и тихая, и хозяйственная, и рукодельная. А вот над самим Бронькой вся деревня смеялась:

– Ты, Сизарь, поди-ка, все запятки бабке Пройде пообступал? Шумота ты бестолковая, шумота и есть! Ты пошто ето со всякого восходу на людей-то кидаешься? Мало тя мужики-то буздыкают?

Измаялась Сизариха в срамоте жить, хоть помирай безо времени. И то бы согласилась, да вот сыновья-подкрылышки – Гунька да Минька. Гурьян да Михаил.

– Эй, Сизари! – кричали им нередко через заплот мальцы деревенские. – Чем батька сёдни лупцевать вас будет? Батогом или сапогом?

Вся и перемена для братьев в отцовском доме. У других ребят в семьях тоже бывало по-всякому, но не так! А тут и по затылку, и по спине, и на, и на! И ни конца ни краю...

Тверёзый Бронька Сизарь шалопутный, а уж когда нажрётся, да в своём доме всё перехлестает, тогда к бабке Пройде бежит – убивать старую за свою срамоту. Но ить Пройда не робкого десятка: так, случалось, влупит скалкою поперёк Бронькиного лобешника – юлой пойдёт мужик! И опять у него домашние виноваты.

Обычным делом для Броньки было расслюнявиться после бойни. Голову повесит, губы распустит и сидит, бьёт себя в грудь да жалуется:

– Пройда, ведьма лупатая, меня урочит. Куда бы ни шагнул – чёрт её вперёд несёт... Гунька! Минька! – зовёт. – Сыночки! Пройда меня путает.

Вот и задумали Гунька с Минькою скрасть бабку Пройду на поганом пустыре, когда ведьма будет варевом занята. Решили они хоть через смерть, а плюнуть ей в глаза.

Поганый пустырь в аккурат лежал за Пройдиным огородом и с Сизаревой крыши был виднёхонек как на ладони.

У матери не надо было спрашивать, поскольку ребята и без того частенько спали на чердаке, особенно когда отец бывал пьян. Там у них давно и соломы натаскано, и ремья всякого. Можно и на палку закрыться. А из чердачного окна следи за пустырём хоть круглый год.

Вёснами пустырь обрастал полыньём, крапивою да дикой коноплей столь густо, что на голую его серёдку целое лето никто не заглядывал. К осени бурьян отцветал, и сквозь долгий быльник проглядывала широкая плешина пустыря.

– Плешину ту черти вытоптали, – говорили деревенские бабёнки. – Когда Пройда варево своё на огонь ставит, так черти дровами ей помогают. А напившись зелья, веселятся. Вот и вытоптали себе точок копытами.

Самих чертей людям не видать, но колдовскою весёлой ночью поднимается в округе сильный ветер, и по земле скачут искорки из-под чертячьих копыт. Уж тогда лучше дома оставаться! Не то искорка такая зацепит человека на лету – всего обметает пузырьём, коростою осыплет...

Обо всём этом Сизарята знали не хуже остальных. Потому-то они решили не ждать, когда черти успеют зелья нахлебаться да невидимыми стать, а захватить Пройду на пустыре одну. Для того нарядиться чертенятами и подбежать к первому огоньку.

Напасли они себе на чердаке сажу, из овчины бросовой сообразили лохматые штаны сладить, прицепили к ним телячьи хвосты. Каждый вечер потёмками наплетали они волосяные рога надо лбами, чтобы при нужде долго не возиться.

Захвати их Бронька Сизарь за таким занятием, посшибал бы обоих с чердака! Уж он бы им наложил чертей! Но ни единая душа не знала о задумке Сизаревых ребят. И ведь сколько надо было набраться терпения, чтобы и спать каждую ночь вполглаза, и не бояться Пройду сторожить. От настырные!

Ночь, другую, пятую сидят, не уходят... А лето катится. Утрами уж стала земля туманцем попыхивать. Мать ругается на сыновей – простынете, чердачники! Чирьем обдаст! Но взашей с чердака не гнала – любила Сизариха сыновей.

В тот вечер долго не темнело. Слышно было, как брешут на деревне собаки, выхлестываясь в подворотни на дальние голоса весёлых мужиков. Там же где-то и пьяный Сизарь доказывает людям жизненную пригодность своей правды.

Гунька с Минькою, привыкшие глядеть на пустырь, сидят на чердаке да шепчутся вовсе не о том, чего ради вот уж которую неделю гнездятся они в этой пыльной темноте. Сверху ребятам видно, как крутые вихорьки заважают по земле сор позднего лета, уносят его за огороды и прячут где-то в густых лопухах.

Скоро ветровую игру застила ночная хмарь, стало лень говорить. Дрёма потянулась погладить ребят по рогатым вихрам, но вдруг отдернула руку и пропала в темноте. А Сизарята подхватились враз и выставились часовыми птахами в чердачное окно: чёрная тень кра-

лась вдоль стены Пройдиной избы! Словно вода через сито, просочилась тень через сеношную дверь, и тут же в избыном оконце посветлело.

Вспыхнуло оконце да погасло, а во внезапно расхлёстанную дверь выкатился и съехал по ступеням крыльца живой тёмный ком. На земле он разровнялся, вытянулся и пополз через двор, огородом, в жухлые конопли поганого пустыря.

Ребят окатило немочью! Сели они на чердаке друг против друга – не помнят, кого как зовут. Но спохватившись, опять на улицу высунулись.

И не вспыхни на пустыре огонёк, они его со страху всё одно бы увидели. Однако робкий огонёк и на самом деле мелькнул за бурьяном.

– Где штаны? – подскочил Гунька. – Давай сюда сажу!

Натянули они на себя овчину с телячьими хвостами, сажею навазёкались, проползли огородом между капустных кочанов и полезли через прясла.

– Никого нетути! – трясаясь в бурьяне, шепнул Гуньке Минька.

– Ты чо, ослеп? – дёрнулся тот. – Туда гляди! Видишь? На кукорках сидит? Огонь в кулаке раздувает!

– Боюся-а...

– Цыть! Заходи спереду! По кругу прыгай, чтобы ведьма ко мне оборотилась. Я стану у ней за спиною... Как повернётся – плюну!

Высочили ребята из быльника да и про договоренность оба забыли – заорали в два голоса, завывли истошно. А ведьма этак вскинулась, повалилась на землю, и руки врозь...

Управились.

Братья молнией домой! Вихрем на чердак!

Посрывали с себя всё чертячье, мордашки пообтёрли кое-как, а от страха спрятаться не могут. Полезли на сеновал. Но и там изо всех углов светят жёлтые глаза! Колодезный журавль в огороде и тот тянется к мальчикам долгой шеей – вот долбанёт по макушке! Куда деваться? Хоть в избу беги. Но не дай Бог, отец пьяный вернулся! Во дворе ещё будет чего или нет, а уж отец не промахнётся...

Одно осталось – пробираться в избу да на полати лезть. Обошлось на этот раз – только мать и подала голос из темноты на шебуршание:

– Озябли, полуношники? Время ли по чердакам-то слоняться?

На полатах ребята расплели себе рога, обчесались пятернями и давай шептаться, покуда мать не заругалась.

Притихли Гурьян с Минькою, а сон только того и ждал.

Утром Сизарихе шабур какой-то понадобился на полатах. Сунулась она наверх – батюшки! Поизмазаны ребята, что головёшки нежат. А лохматы! А исцарапаны! Кинулась банёшку топить, согрела быстрёхонько воду, ребят толкает.

– Вставайте, прокудники! Живо в баню, покуда отец не явился.

Дала обоим подзатыльников, сама заторопилась корову доить. Без матери братья набузовали в корыто воды, полезли мыться. Сидят шушукаются между собой – что делать? А банная дверь как распахнётся во всю ширь! И стоит на пороге живёхонькая бабка Пройда!

Сизарята чуть не утонули в корыте.

А ведьма поглядела на братьев сквозно да и говорит:

– Как время придёт могилу копать – ройте сами! Место берите у трёх берёз. Поняли? У трёх берёз!

Повторила так ведьма и пошла прочь, а у ребят заднушки ко дну пристыли.

Тут во дворе мать истошно завывала!

Надёрнули ребята одежонку, высочили из бани, а мужики деревенские несут через огород с поганого пустыря чёрного, как земля, отца... Вот те и бабка Пройда!

Бабы уж во двор набились, стоят, судят потихоньку:

– Это черти Броньку на пустыре загоняли. Вечор грозился подстеречь Пройду за её варевом... Вот и подстерёг!

– Жалко мужика из-за детей, хоть и дурак.

– Как теперь Сизариха останется? Выюшка-то хоть и черна, а тепло держит.

– Конешно. Не ядрышко он был ореховое, но и щербаты грабельки сено гребут...

Стоят Гунька с Минькою, разговоры бабьи слушают, однако нутром понимают, что сами они отцовской смерти первая причина. Оттого-то и потупились братья сильнее печального и на людей не могут смотреть.

Утром другого дня засобирались мужики покойнику могилу копать. Но Гунька с Минькою вперёд вышли:

– Сами будем рыть!

– Не принято своим-то...

– Сами!

– Господь с имя, пушай идут, – решила за всех самая древняя бабушка. – В этом завете одно только сердоболит, а греха никакого нету.

Взяли Сизарята лопаты, прихватили лесенку, пришли на кладбище. Тихо кругом. Осень уже успела сбрызнуть берёзовые листочки желтизной, а тепло. Однако братьям зябко сознавать, что кончилось их неуютное детство и надо теперь думать не только о себе, но и о горемычной своей матери.

Стоят ребята, прикидывают, где могилу начать.

– Тут по три берёзы целое кладбище.

– А вот за бояркою...

– И правда! Што сёстры.

Пошли братья за боярку, а там, между трёх берёз, простору как раз на одну могилку, и уж само рытьё кем-то начато. Только ни копальщика, ни лопаты не видно.

А ведь деревня не уезд и даже не волость, тут каждый знает, сколько покойников случилось. Выходит, что могилка кем-то начата ни для кого другого, как для ихнего отца.

– Должно, вечор мужики начали копать, – стоит, гадают Гурьян.

– Мы бы про то знали, – не соглашается Михаил.

– Тогда Пройда...

– Ну ты! – испугался Минька. – Ещё, поди-ка, и на нас наколдовала... и мы тут ещё помрём! Пойдём отселева.

– Куда? – ответил Гунька. – Ежели Пройде надобно человека уморить, она его хоть где сыщёт.

И, словно бы в подтверждение сказанного Гурьяном, углядели ребята на близкой кладбищенской дороге неторопкую согбенную спину бабки Пройды...

Только лопаты замелькали в руках братьев. Копают Сизарята, а земля до того мягко поддается, словно могила уже кем-то копана на всю глубину да засыпана для интересу непонятного.

К полудню мальцы, считай, справились со своей невесёлой работой; осталось на вершок углубиться, и можно отряхивать штаны. Тут вот Гурьянова лопата и уперлась во что-то неподатливое.

– Гроб!

Но Минька зря вылетел наверх, как подкинутый, – под лопатой оказалась старая корчажка, а в ней тряпица с деньгами!

Найденных денег было не так уж и много, чтобы Сизарям сразу захотелось другой жизни, но на завтрашний день можно стало глядеть без боязни. И вдовьи слёзы на глазах самой Сизарихи скорее ожидаемого высохли, с полным-то карманом...

Ладно.

Вскорости померла и бабка Пройда.

Деревенским сходом было решено похоронить ведьму на поганом пустыре, да чтобы душа её неусыпная ночами больше не блукала по дворам – воткнуть на её могиле осиновый кол.

Миньке с Гунькой чаще других доводилось потом ходить мимо Пройдиного пустыря: то на речку побегут купаться, то рыбки на уху добыть, то травы покосить на пологом речном берегу.

И чем выше поднимались ребята годами, чем глубже сознавали они истинную причину отцовской смерти, тем неотступней одолевала их загадка – каким таким манером, каким чудом оказались тогда под Гурьяновой лопатой деньги? Тем невыносимей было видеть им осиновый кол на поганом пустыре.

Сизариха взялась жаловаться соседям:

– Вышла надясь потёмками на крыльцо, а они оба стоят, на пустырь глядят, шепчутся. Ой, подружки-подружки! Ой, чо мне делать?! Томятся мои ребятки...

– Бабку искать, – советуют. – Пуцай придёт порчу выльет. А так хоть задумайся – одной думой и комара не убьёшь.

Но скоро отпала нужда бабку искать. На Семён-день⁴ чуть свет тарабанит Фроська Халина в Сизарево окно, шумит:

– Эй, хозяйка. Выходи скорейча, глянь-ка, что на пустыре-то деется!

Сизарихе ажно в голову дало – сыночки! Слепая, босая, в одной рубахе кинулась она через огород. Халиха её и догнать не смогла. Когда же Фроська пролезла чернобыльником на пустырь, застала там Сизариху, полную удивления: а дивилась она трём молодым берёзам, выросшим в одну ночь в изголовье Пройдиной могилы, да резному берёзовому кресту на месте осинового кола...

И Халиха, и Сизариха не в силах были сообразить, когда же всё это успело образоваться?! На голом-то пустыре!

А народ уже сбегался со всех дворов, ахали поражённые бабы:

– Вот те и Пройда!

– Ну и ну!

– Святая! Как пить дать – святая!

– Земля ей пухом!

⁴ Семён-день – 14 сентября. С этого дня по 21 сентября – старое бабье лето.

Оглядкин подарок

Ещё про одну бабку небылица велась, про Оглядку. Про ту старуху, которая была почище всякой Пройды. От Пройдиного-то следу передерутся люди, переругаются, да и опять вместе. А с Оглядкою было куда как больше заботы.

Вот ежели бабка, скажем, идёт тебе встречь – ничо не бойся. Тут у неё никакой силы про тебя нету. И следом за тобою может ходить целый день – тоже никакой беды. Но стоит ей, пройдя мимо тебя, оглянуться, – всё! Этим годом помрёшь!

Вот оно какое дело страшное! К этой бабке Оглядке даже какой-то учёный немец приезжал: умника из себя строил. Говорил он народу, убеждал, что никаким сглазом бабка, мол, не обладает. А наделена-де она странной от природы особенностью – улавливать нюхом близость чужой смерти.

– Ет чо же? Ето немец больше нашего ведьму, что ли, знает? – кричала тогда перед народом Степанида Закуриха. – Оглядка, она и есть Оглядка... Ишь, приехал сюды, заступник! Поди-ка, сам сатанинского роду – в кармане хвост прячет... Вот и выгораживает свою товарку!

За неделю до немцева приезда от той Закурихи мужик её венчанный в город убежал. С молодухой Федот Закурин и году не вытерпел жить. А сам виноват: ему, видите ли, в родной деревне суженой не выдалось! Степаниду он привёз соткуда-то с Московской дороги. Высмотрел красавицу!

На ихней свадьбе Оглядка возьми да скажи кому-то:

– Не жить Федоту со Степанидою...

Эти Оглядкины слова дошли до Степаниды тогда, когда Федот улепетнул со двора. Уж больно не к его рукам оказалась молодайка – из тех, об ком в народе говорят: ни сесть, ни подняться, а с Богом равняться.

– Пушшай не радуется моей беде! – грозилась в тот день Степанида в сторону Оглядкиного двора. – Не смейся горох над бобами, сам будешь валяться под ногами.

Оно и без того боялись Оглядку деревенские простодумы. Бывало, стоит кому увидеть сыздала её чёрный платок, будто бы степным вихрем выметало народ с улицы. Только щеколды заклацают на калитках да испуганные ребячьи глаза в щелях плетней уже караулят каждый Оглядкин шаг.

И прежде Степаниды Закурихи находились на Оглядку лихие люди, и они хотели бы укоротить её жизнь. Да только оберегал старую от тяжёлой руки страшный завет.

– Ишшо когда Оглядка в полной ведьминой силе была, – рассказывали бабёнки одна другой, – когда ишшо невестилась, так один бойкий стрелок пулю в неё свинцовую пустил за насмешку невыносимую со стороны Оглядки. Может, случилось такое и за гордыню её высокую. Только пуля та ведьму обогни возьми да самого стрелка и ухлопай наповал.

А ишшо на её голову находился и такой герой, что под угол избы красного петуха подпустил: паклю на палке поджёг да и сунул в кошачий лаз. А дело, знамо, ночью было...

Вот, бы, торопится петухарь тот прочь от Оглядкиного дому, а ему, бы, что-то больно светло бежать. Оглянулся, а за ним скачет на одной ноге горящая палка, только огненная грива её хлещет по ветру...

С перепугу влетел петухарь в чей-то пустой амбар, заперся изнутри... Потом еле успели вытащить его из амбара – вся голова обгорела у прокудника. Ещё и хозяин построины заставил его потом новый амбар срубить, чтобы впредь не баловал с огнём.

Волосы на голове того поджиги так и не выросли никогда: всю жизнь звали его в деревне рекрутом.

Вот и выходило, и складывалось с тех разговоров, что справиться с Оглядкою могла разве что самовольная её смерть.

На том и остановилась злая Закурихина душа, на том её и заклинило.

В простой же человеческой исходности было якобы Оглядке отказано. В самой её кончине и гнездилась крючковатость ведьминога завета: прежде того, как помереть последней смертью, должна была Оглядка передать колдовское своё умение другому человеку. Без такой передачи сколько бы разов ни помирала Оглядка – воскреснет!

По причине такой боялись сельчане даже прикоснуться к старухе: не дай Бог, минутой помрёт!

Но и в деревне всякий народ жил: находились и такие, что Оглядку вовсе не боялись.

Хотя бы взять – Вознеся-бондарь. Тот на всякие разговоры рукой махал.

– В других деревнях и помину Оглядкиного нету, – говорил он, – а люди не меньше нашего мрут.

Весёлым был Вознеся человеком.

– Как только помру, – смеялся он, – сразу на седьмое небо вознесусь и останусь там, не упаду. Грехами я не обременён, чего падать? Никакой заковырки мне там не будет.

За такую шутейность в деревне его окрестили Вознесей и дочку его, тоже весёлую да открытую, по отцу Вознесюшкой кликали. Сама бондариха в доброте тоже от них не отставала.

Да-а! Чисто, легко жили люди. На таких вот глядят с неба ангелы и улыбаются, а черти в затылке скребут.

Ну, да не станем завидовать, поскольку зависть всем грехам заглавие!

Те вот бондари всею семьёй не боялись бабку Оглядку. Сами они ходили к старой и дочку с малолетства отпускали к бабке слушать мудрые сказки.

С подростом стала Вознесюшка бегать к Оглядке не только за выдумками, а и торопилась пособить старой по хозяйству чего, и даже делала это себе в радость.

А Закурихе занеможилось бондарей от Оглядки отвадить.

– И чо только думают люди? – лезла она ко всем подряд со своей неизбытной досадой. – Испортит же девку ведьма проклятая.

– Не испортит, – уверяли её соседи. – Тебя вот она скорее заметит...

– Она хоть и ведьма, – добавляли другие, – а всё-таки человек. Так-то душевно живучи, разве Оглядка наберётся совести погань бондарям сотворить?

Так судили осторожные. Пустозвоны же да дуроватые подначивали Закуриху:

– Отбивай, Степанида, бондарей от ведьмы – скорее задавится одна.

Ну вот! Куды человек едет, там и остановится.

Как с ветки, сорвала Степанида главную причину своей разнузданности.

Набивал Вознеся-бондарь обруч на квасную дежу и тяпнул себе по пальцу молотком. Скоро отбитый палец почернел, поднялась рука подушкой. Порченная кровь растеклась по плечу и ударила в голову.

Глаза опускались глядеть, что с человеком сделалось за короткое время: весь дрожжевой стал, рыхлый. Ткни, казалось, его пальцем посильней, дурной воздух засвистит наружу.

Откуда такая напасть налетела?

– От Оглядки! Откуда ишшо-то? – разорялась в бондаревом дворе Закуриха. – Теперь сами видите, почём слово моё? Попомните вперёд: она и бондариху туда же спроводит! Ведьме это край надобно: кому она ишшо-то, окромя Вознесюшки, своё колдовство передаст.

– С нами крестная сила! – пугались в толпе бабёнки. – Спасать надо Вознесюшку, пока не поздно.

– Да как спасёшь-то её?

– Думать надо как!

– Чо тут думать, чо ждать? – настаивала Степанида. – Айда прямо счас до Оглядки! Пушай лучше добром помирает, не то в избе её заколотим и трубу заткнём. Пошли, бабы! Может, успеем ишшо Вознесюшку спасти?!

Чёрт её знает: может, и взбеленился бы народ Закурихиной беленою – вроде к тому шло. Только в ограде сказал кто-то громче других:

– Помер Вознеся! Перестаньте горланить!

Перестали покудова.

Только похоронили бондаря, не отвели и девяти дён – вот те на! Бондариху скрутило: и живот, и живот... и ничего ей стало не надо... Померла бондариха, как в гости ушла.

Тут уж со Степанидою даже бойкие бросили спорить. А её, того тошней, прямо в сучок потянуло! Кулаками трясёт:

– Я те покажу, нечистая сила, как людей со света сживать да со двора мужиков выпроваживать! Дай только времечка, вознестись на небеса святой бондарихиной душе...

– Надоела ты, тётка Степанида, со своей грозой, – осекла как-то Закуриху сама Вознесюшка. – Что ж ты в добрые-то по чужой спине лезешь? Зря стараешься. Ведь сколь ни куй, а из алтына не выкатится полтина.

– Вот она, выучка Оглядкина! – тут же кинулась Степанида правоту свою доказывать. – И в самом деле, спасти тебя пора.

На сороковой день от смерти матери собрала Вознесюшка в доме своём поминки. Ещё и народ не успел путём сойтись, вот ли бежит по улице махонька девчоночка соседская да кричит в отворённое оконце:

– Тётка Вознеся, бабка Оглядка помирает!

– Как ты знаешь, Дуняша? – высунулась на улицу молодая хозяйка.

– Щас-ка сама видала, – щебечет махонька у оконной створки. – Плетётся старая с огорода, согнута-пересогнута вся... «Ох-ох!» – охает. Еле ноги взволокла на крыльцо... упала там... В самую избу ползком поползла...

До конца-то девчоночка ещё и не досказала, а уж народ сыпом сыпал к Оглядкиной избе. Закуриха вперёд всех летит, ажно подол к ногам прилипает.

Мигом собралась на улице толпа, и Вознесюшка сюда же торопится.

Степанида руки перед нею расставила:

– Куда? Колдовство перенимать?! Ах ты, бесстыжая! Ни отец, ни мать ей не памятни. Рвётся скорее ведьмою стать...

– Пусти! – не слушает её Вознесюшка. – Там же человек больной...

– Не пущу! Нам и одной колдовки по горло хватило.

– Да ты сама, тётка Степанида, хуже всякой ведьмы...

– Пустые твои шары! – заорала до посинения Степанида и хватъ Вознесюшку за косы да к народу обернулась. – Она думает, что я не видела её с Оглядкою! Запрошлой ночью, бабоньки! Гляжу: выходят из Оглядкиной бани. Космы у обоих соломою, глаза зелёным огнём полыхают... Там вот, я за плетнём стояла... морду мне опалило глазным ихним жаром! Бей её, собаку!

Однако парни отняли Вознесюшку, не дали Закурихе воли. Но и девку стали уговаривать:

– Нет, Вознесюшка, нет! Суди нас как знаешь, а мы тебе не злодеи. Ежели немец тогда и не соврал про Оглядку, так всё одно темнота людская задолбит тебя пустословьем. Покуда старая не помрёт навовсе, мы тебе не позволим к ней подойти.

Сколько ни билась Вознесюшка в сильных молодых руках, не пустили её ребята к старухе, домой отвели. Приставили к ней подружек для караулу.

А что девчонки? Да ещё за день наработанные? Долгая ночь их всех и подвернула под себя. Не спросилась, когда ей подложить под молодые головы мягонькие сны.

Поднялась трепетная Вознесюшка среди ночи, что пугливая норужка в сени юркнула, а уж на улице оказаться и вовсе ей никто не помешал.

Прокралась девонька тёмными задами к Оглядкиному огородчику, горбясь у плетня, долго ночь слушала, а потом лёгкою тенью миновала чистый двор и осторожно в сени поднялась.

Скрипнула под рукою ветхая дверь, половица заплакала от радости, ей отозвалась слабым стоном избяная хозяйка.

Упала Вознесюшка головою на худую бабкину грудь и, почуя на затылке ласковую руку, захлебнулась слезами.

А старая заговорила, силясь быть понятою:

– Дитятко! Горемычное ты моё! Вознесюшка... Не испугалась... А надо бы поостерегись простоты людского ума, хотя бы и зла от меня никому не было... Ишь, как Степанида-то разоряется. А ведь мою на свете живу я от случая.

Потом подумала Оглядка да не передумала – дальше повела тихим голосом:

– Отец с матерью меня людям раньше твоего оставили... Росла... Чо поделаешь? Куда денешься?

Скоро люди стали говорить, что смотреть на меня нельзя без душевной отрады – такова пошла я в красоту... В ту пору я жила в работницах у одного чепурного хозяина. Он-то и надумал сделать меня удобною для своей хозяйской похоти... Языком-то согнуть ему меня не удалось, подарками не сладилось... Кроме силы, ему ничего не оставалось больше...

К тому разу я картошку окучивала за пригоном. Неслышно подкрался хозяин...

Вывернуться-то я вывернулась – иного и быть не могло. Только вгорячаххватила я хозяйина тяпкой по загривку. Раскроила... Думала, что он побежал кровь останавливать, а уж, гляжу, обратно с ружьём несётся...

И приставил меня хозяин к стене пригона... А пьяный...

Я кричу ему в самую рожу: «Стреляй, барсук вонючий!»

Какой хозяин стерпит обиду от своей работной девки? Хлестанул он по мне в упор... Да только с такой больной головою и втык промахнёшься.

Слышу я: пуля – чок! Прямо у моего уха щёлкнула! А сам хозяин, гляжу, на земле крутится, воздух ловит широким ртом.

Недолго покрутился хозяин у моих ног – помер.

Кто-то из людей видел, крик поднял. Суматоха пошла: стали разбираться, что да как...

На деле оказалось, что пуля та шальная угодила прямо в железную скобу пригона, отскочила да нырнула в раззявленную глотку самого стрелка. Чо-то, видно, кричал он мне на прощание, да не разобрала я под ружьём-то...

Много нашлось, кто были рады странному исходу неимоверной дури моего хозяина. Потому что не только бедные, а и зажиточные ходили у него в больших долгах. И это немного сровняло мою причастность к хозяйской смерти. Но удивляться люди не перестали такому случаю.

Доудивлялись до того, что вроде бы успела я хозяйскую пулю на лету заговорить. Вот и получилось, что ведьма я, что и пули меня не берут, и огонь не трогает...

А ведь на чужой роток не накинешь платок...

Не жизнь я прожила, Вознесюшка, а муку промучилась.

Рада-радехонька теперь помереть. Одно меня томит на этом свете: за тебя боюсь.

И замолкла старая и снова открылась:

– Мне бы только до утра дотянуть. Там я выползу на солнышко. Хочу в ограде помереть, на людских глазах... Но и тогда, Вознесюшка, вперёд других ко мне не подходи. На то тебе моя последняя воля! А теперь ступай домой, Господь тебя благослови.

Надо было бы Вознесюшке домой вертаться тем же путём, да чёрт, видно, его загородил...

Вышла она на улицу воротами, не успела путёвого шагу ступить – Степанида перед ней из пригородного бурьяна выросла.

– Ну что? Сходила? Переняла?! Ведьмою жить захотела? Людей морить?!

– Тебя, тётка Степанида, первой уморю, – хотела отшутиться Вознесюшка, да на смелость её Закуриха ажно вздулась:

– А вот мы счас увидим, хто кого первую уморит! – Да опять хватъ девку за косы, да грянула сквозным голосом до последней деревенской избы: – Сюда, лю-уди! Вставайтя-а! Сюда-а-а. Ой, глазонькам моим больно, что я видела чичас! – выла она истошно на всю улицу...

А люди, подбегая, таращили на неё полусонные глаза да спрашивали один другого, кто что придумает.

Когда ночная деревня, лохматая да тугоумая ото сна, собралась на улице тесным кругом, Степанида стала захлёбываться во вранье:

– Гляжу! Выходит Вознеська из Оглядкиной избы... А веселёхонька вся! Радостна! С крыльца ажно плясом спустилась. Я за плетнём сижу и вижу: восстал вдруг перед нею в ограде огненный столб! А в столбу! Разорви меня на клочки... Немец в том столбу стоит! И вот уж разговаривают они с Вознесенькою-то. Да рогами немец трясёт! И стерва эта ему согласно кивает. Хотела я, бабыньки, в страхе-то бежать, да учуяли они близость мою, заторопились, забормотали, по двору закружились... И дьявол... Господи прости! Влился в девку дымною струёю. Без остатку влился, весь! Что делать будем, люди? Вы только поглядите! Не верите, эвон треплет-то Вознеську как! Это в ней не уймётся ещё переёмная трясьба. Ведь только-только спеклась новая ведьма... Так покуда не укоренился в ней дьявол да по молодой крови не растёкся, выбить его надо!

И, силою согнувши девку под себя, Степанида первая долбанула её по спине.

– Для неё же это нужно, – кричала она оробевшим бабам. – Бей, чтобы рогатый выскочил! Нашлись... Но сколько ни долбили девку, дьявола, понятно, не выдолбили.

– Веди её к речке! – шумит тогда Степанида. – Купать будем головою до захлёба. Из мёртвого-то тела немец сразу выскочит. А потом Вознеську откачаем. Что стоите-то? Глядите – светает! Петухи запоют, тогда поздно дьявола будет выгонять.

Повели Вознеську бабы скопом к реке.

А ближе всего к воде идти им было через Оглядкин двор.

Не испугались, попёрлись.

Вот и ворота, вот и двор Оглядкин. А вот и сама старая Оглядка! Лежит болезная посреди двора и размертвёхонька что камень.

Остановились люди перед мёртвой, защемило в них тоскою суть человеческую. Одна только Степанида Закуриха не унимается:

– Видите – померла! А я вам чо говорила? Не могла ведь Оглядка, не передавши колдовства, окочуриться?

И уж что хотела сделать Степанида с Оглядкою: то ли с дороги убрать, то ли убедиться лишний раз в своей правоте?

Но не успела она нагнуться над старой, как поднялись от земли медленные мёртвые руки, обняли Степаниду за крепкую шею, и все кругом услышали долгий Оглядкин вздох и ясный её голос:

– Прими душу мою, Степанидушка! Стань вместо меня на деревне ведьмою.

Так-то вот!

Будь спор – через костёр, да посередке не сядь.

Паучиха

По крутому бережку, по склону суглинистому бегала в старую пору за ключевой водой с коромыслами кленовыми Дарья Паучиха. Оттого и Паучиха, что ноги ейные от горба горбушечного начиналися да в разные стороны отвёрнуты были одна от другой. Тошнёхонька болезнь согнула Дарью в три погибели, узлом завязала и отпустила, наигравшись.

Отчего ж ей, бедной, нрав-то людный было иметь? Пряталась днями Паучиха за плетнём своим высоким, в сутёмах выскакивала на зады, катилась ко воде родниковой, черпала и впопятную бежала, поскрипывая коромыслом, поплёскивая из бадейных вёдер на крутую тропу голубой водой.

Покудова бабы коров доили да чугуны на ухват принимали, Паучиха нанашивала воды той, в хозяйстве многонужной. Опося, впотьмах вовсе, торопилась в леса ближние, а уж по звёздам ярим домой ползла, гружённая хворостом да корьём на растопку, поверх чего безотказно ехала чурка добрая, про зиму затаённая.

Сама, зная, деношно пилила Паучиха чурки те разовые. Зато уж всю зиму долгую не кизяшный дым валил из трубы её избяной, а смолянистый, запашной дух тайги.

А и было в той Паучихе знатного, что голос её. Вся песней исходила, когда было примется выводить вольные напевы. У баб в печах хлеба горели, пироги углились... Коровы в стайках бросали жвачку жевать...

Завалюха её в пластиной шапке на соломенной подкладке привалилась спиной к плетню Парамоныча, позадь бани бревенчатой белой.

Парамоныч – мужик богатый. За его доходом работников водить, а он сам в каждое дело охотник. К тому же кормил он возле себя трёх сыновей. Уж два-то сына – листвяки! Филька – грузный, кряжистый, лоб широкий, плечом хоть мосты подпирай. Да и Петряк, меньшей, тоже не споткнётся. А вот старший сын, Сенькой звали, божий человек, квёлый, телом жидковат, глазом слеповат. Семейные его и за мужика не считали. Живёт, мол, прихлебатель: не кол, не лучина – одна кручина.

А то невдоум братьям, что весь дом, почитай, только на Семёне и держится.

У Фильки к тому времени уж хозяйка была заведена, дык она с ленцой попалась: братья с баткой в поле, а она Семёна – в работу. И то подай, и свиней накорми, и двор прибери...

Это она, Анчутка Филькина, по злобе своей Дарью-то певунью Паучихой назвала.

А ещё когда работнички в дом с поля вернутся, так Анчутка муженьку жалуется перед сном:

– Нешто нянька я вашему слепню? И без того на этакую-то ораву руки отбиты, так ещё возись вам со слепошарым недоноском. Пошто не жените его? Женили бы, покуда не ослеп вовсе. Мне б в хозяйстве подмога была.

Братья и сами не прочь бы другую сноху на подхват взять, да Парамоныч заказал:

– Не бередите больное! Покуда я Семёну хозяин! Пушай доживает в спокойствии да сытости.

А какой уж тут покой, когда Филькина злыдня по толчкам день мерит? Однако терпел Семён, берёт семейный лад. Но не бывает ночки без звёздочки...

У Семёна того своя радость была, что перекинуться с Дарьей-певуньей через плетень словом добрым.

Жалела она его, хворого, да и он её, убогую, за всё соседство никак не обидел. Убог да хвора – какая ссора?

Что ни день, ладили они разговоры. Кто скажет, об чём речи ихние текли? Не мешал им народ во сердечных беседах. Ни разочку не высмеивал, не подьелдыкнул никак...

Умный народ в селе был, понимающий.

Так, может быть, до последнего часа утешался бы Семён беседами с Дарьей Паучихой, когда б, не ко времени, не помер Парамоныч. Гнедуха его на полосе чегой-то заартачилась. Он её покоить, он её по морде гладить... А она махнула через хозяина... Сама-то не задела, а сошник подхватил старого под микитки – располоснул живот поперёк. На поле прям-таки и Богу душу отдал Парамоныч, наказывая Фильке не обижать Семёна.

Да, знать, впорочно потратил батька свои последние силы на тот наказ.

Похоронили Парамоныча, крест поставили, молебен отслужили, помянули хмельно и спать легли.

Легли спать, а Анчутка Фильке зудит:

– Али ты, Филька, Иисус Христос? Душа-то у тебя, знаю, широкая, а всех не увезёшь, посадивши. Хвор-то он хвор, а жрёт-то как! Ты поглядел бы днём... Это при вас он казанской сиротой прикидывается. Без вас он только по горшкам и щёлкает.

– Ну и ну! – сердится Филька. – Мала блошка, да спать с ней тошно.

– Не я ж на тебе женилась, – резонит Анчутка. – Ты мне спину-то не кажи. Не ставь спину-то стенкой! Я ж Семёну невесту подглядела.

– Да ну! Не то Паучиху?

– Дурак ты, Господи прости! Кто же это одной коростой другую лечит?

– Да уж и не знаю, – тянет Филька, – кому он мог ещё поглянуться?

– Паруня, та, что весной у Назарихи баню купила, в самый раз нашему шпарёнку.

– Это Паруня, которая, говорят, от муженька своего убежала?

– Она!

– Так разве ж доброе дерево к трухлявому пню привьётся?

– Много ты знаешь! Она пятно своё стелькой готова прикрыть. А ты видал какая? Эта лошадь двух мужиков прокормит. Только взять-то её – никто не берёт.

– Ой, гуди, гуди... Брешете вы, бабы. Красота её глаза вам слезит. Скажи, сесть тебе на Паруню захотелось. Думаешь, кого горе согнёт, того и овца перемахнёт?

– Ишь куда по жалобе поплыл – к берегу не притянешь. Нашёл тихую! Мужика бросить – она смелая...

Ну, нонче – ночь, завтра – утро... Убаюкала Анчутка Филькину совесть, заговорила кровную жалость.

– Ладно! – отмахнулся Филька от зуды. – Загляну на неделе к Паруне.

Анчутка и неделить не стала. Из тёплой постели к Паруне явилась.

– Ай, дрыхнешь, нагулявшись?

– Не с твоим гуляно, не тобой пытано... – осерчала хозяйка. – Чего ты с утра, не оглядевшись, людей будоражишь? Дело, што ль, пытаешь?

– Дело, Парунюшка, дело! Полный короб принесла. Слушай сюды. На неделе Филимон мой со сговором к тебе пожалует. Так уж ты не сусолься шибко-то, Парунюшка.

– Ишь чо! – удивилась Паруня. – Али ты своему Фильке осточертела?

– Вот уж наляпала! – усмехнулась Анчутка. – Да в нашем дворе женихов-то лопатой гребь.

– Уж не Петруха ли по мне занемог?

– Не... Петруха ж остолоп ещё. Семён квохчется. Сам-то он, вишь, какой стеснительный?

– Буде врать! На кой леший припала мне болячка ваша?

– Болячка-то он болячка, да на каком теле сидит! Род-то какой тебе честь оказывает!

– Мне что ж от вашей чести, али соху за неё прицепить можно?

– Фу ты, простоумая! Семён-то не сегодня завтра того... упокой душу... А ты тем временем Петруху приручи. В одно хозяйство пойдёт. Чего тебе терять-то?

– Ишь ты, чумичка подлая! – подскочила Паруня. – Мало тебе Семёна, ты ещё и Петруху думаешь под себя посадить! Две шеи ей подставляй! Не широко ли сидеть будет?

– Я чо такого сказала? Ты пошто в пузырь-то лезешь? Глядите на неё! Я к ней сватом, а она – ухватом. Ну, я пойду, коли так. Другую поищу.

– Погодь, Нюрка, – позвала было сваху Паруня. – Договорить надо.

– С Филькой договаривай.

Договорились, однако, Паруня с Филькой.

Уж и пела в тот день Дарья Паучиха за плетнём своим. Анчутка сколь разов ладила кол из плетня выправить да по горбу Дарью наkostenять.

В ночь перед Семёновой свадьбой занялась огнём Паучихина пластынка, со всех четырёх сторон полыхнула жарко. И костей Дарьиных не доискались потом. А неделей после венчанья Паруня зафондебобилась:

– Широкий ваш двор, да правит в нём вор. Дели добро! Своею печкой тепло добывать будем.

И Семён, зная, от досады за Дарью тоже в лад с Паруней упёрся:

– Дели, Филька, покуда я сам не приступил!

Ох, и не ждала Анчутка такого выверта от невестки! Однако скоро вожу на кулак намотала, упёрлась дужно и повернула в свой огород:

– Кто ж о такую пору-времячко делёж ведёт? Буде кочевряжиться. Скирды завершим, зерно обмолотим, картошку приберём... Там и дели-распределяйся.

А у самой на уме: «По осени, должно, Сенька, окочурится, Паруню тогда – в гриву! В гриву её, шлётку-чужедворку! Иди свою банёшку топи!»

А уж самой недужится, а уж самой неможется. Гробит Сеньку работой, голодухой добивает.

Полевая работа Паруню мужиком сделала: днюет и ночует со деверьями на жнитве да на зяби, на покосе да на озими. А Сенька чахнет на глазах, еле двор перемогает. Только и сила в нём, что до Дарьиного плетня доползёт и ляжет, ляжет и задремлет на солнышке. Тепло ему там, будто земля ещё с пожара не остыла.

Сладили крестьяне полёвки; братья с новой невесткой на ярмарку собрались. Паруня наказывает Семёну:

– Ты, Сенька, не бегай под Нюркой. Горб-то свой не подставляй под ведьму киевскую. Разумей себя: старшой ить ты.

Ну, съехали со двора обозники, постояла Нюрка у ворот, покрасовалась и домой вернулась. Вернулась и Сеньку в бок:

– Неча болявки налёживать! Велика ли работа: по лопатке, по ведрышку... Погреб под картошку приготовь, отвори... пущай ветряет.

Погреб тот у бани самим Парамонычем был вырыт. Когда рыл его Парамоныч, сказывал: «В погребе чегой-то шибко слышать, как Дарья поёт. То ли жила какая идёт со двора её подземно в нутро погреба?»

Покуда Семён добрёл до места, колечки цветастые в глазах закрутились, заширились... А работу надо делать, не то Нюрка поедом заест. Поскрёб Семён сколько-то, покидал наружу сор, подмёл доньшко, выбрался кое-как и прилёг передохнуть у Дарьиного плетешка.

Тепла земля озноб сняла, косточки на место приткнула, чтоб не тряслись, и приголубила хворого до дремоты.

Анчутка пришла на работу глянуть и заорала, торкнувши ногою Семёна в бок:

– Я тя за сном послала? За сном я тебя послала, морда слепешарая?!

– Ну, чего ты, Анна, злом рот поганишь? – не утерпел Семён. – Почистил я. И лесенка вона... на ветерке... Пущай обыгает.

– Обыгает... – перевернуло Анчутку. – Чёрт бы тебя обыгал, притвора. Поди хворосту накидай! Подожди дымно. Червяка всякого, паучишек повыкури.

– Да чисто в погребе, сама погляди. Сухо да чисто.

– Где сухо? Где сухо? Вон в углах... Нагнись ты.

Нагнулся Семён над погребом, Анчутка его саданула в загорбок: спину, мол, боишься переломить.

Ухватился болезненный за погребушечный край, да слабые руки ослушались – сорвались. Ухнулся Семён об глинистое дно, простонал и умолк.

– Так тебя! – крикнула в погреб Анчутка. – Посиди тут денёк-другой. Может, подохнешь быстрее.

Хлобыстнула она творилом и ушла во двор.

А Семён как упал на дно, так и не мог подняться. Кое-как дополз до стеночки, спиной привалился. Так и просидел в погребе до темноты. От холода, зная, опаматовал. Вспомнил, что было, и заплакал без стону и причёту. И впервой подумал Семён о смерти как об избавлении.

Чу! Песня!

То ли смерть идёт, то ли жизнь возвращается? То ли мерещится Семёну во бреду Дарьян голос?

Хотел Семён на помощь позвать, да силушки в нём осталось только прошептать имечко доброе:

– Дарья! Ах, Дарьюшка...

Откинулось творило, пахнуло в яму теплом и голосом:

– Ктой-то тут меня зовёт? Неужто Семён! Раненько ты, батюшка мой, под землю забрался. Да я тебя и под землёй нашла.

Опустила горбыня лесенку в погреб, зовёт:

– Вылазь сюда.

А Семён уж с ног на руки валится.

– Друг ты мой бесталаный! Погодь времечко... – Сбежала легонько Дарья по лесенке, подхватила Семёна, что дитя малое, под звёзды вынесла. – Ах, ты, Сенюшка, Сенюшка. Сколь лёгонец-то ты, сколь хрупенёк. Всё высосала кровопийка ненасытная, а меня ж ещё, подлая, Паучихой нарекла.

Посмотрела Дарья строго так в сторону избы, где Анчутка бока на перине грела, и пошла к лесу со своей ношей.

Ну ладно...

Отползла ночь от села, за оборком леса спряталась, и нет её.

Не успела Анчутка, спросонья зевнувши, рта перекрестить – вот она, ярмарка, в ворота стучится.

Не ждала злыдня такого поворота, залебезила перед своими: про товар, про дорогу, про цены спрашивает...

Паруня ж Семёна глядит:

– Где Семён?

– А пёс его знает, – отвечает Анчутка. – Ночью всё дверями хлопал, всё ходил – спать не давал. Может, где на сене дрыхнет?

А самой не стоится. И такие у неё прыткие глаза, прям не знает, на чём бы их остановить.

– Пошли завтракать, чего среди двора стоять, – зовёт. – А Семён никуда не денется.

Однако и в избе под нею лавка прыгает.

– Сидите, – суетится она, – с дороги и так притомились. Пойду Семёна покличу.

Не привыкли домашние к такой заботе, удивляются. Не усидела Паруня, вышла следом за Нюркою. А та прямиком к погребу шпарит. Паруня юбку – в горсть и за ней. Анчутка уж творило погребное откинула, шумит:

– Вылазь, Семён, куда забился? Вылазь, говорю! Не то в погребу погребу...

Яма ж ей пустой ответ бубнит.

Ползла она в погреб и уж не видит со страху, что следом Паруня опускается и Филька с Петром прискакали, смотрят сверху.

Нюрка будто вовсе ослепла: шарит руками по стенкам погребушечным, ищет... Паруня же стоит в погребе посередине, глядит на неё, а сама дрожит мелкой дрожью, и такие у неё глаза, что у Фильки с Петром волосы дыбом поднялись.

Анчутка кидается на стены, бормочет чего-то... В одном месте стенку боднула и увязла головою, что в квашне. Дёрнулась освободиться, земля и поплыла в погреб, как вода в половодье полилась. Не успели бабы и ноги вытянуть: закрутило их в месиво земляное, что в воронку речную.

Скоро и макушек не видно стало.

Братья за лопатами в пригон кинулись. Пока бегали туда-сюда, полный погреб грязи наплыло, под самое творило. И вся она поверху уже заткана крепкой паутиной. А на самом видном месте сидит здоровенная паучиха, шипит, ядом плюётся...

Хотели её братья держаками с места согнать, нодохнул на них погреб могильным холодом, и побежал наружу злой шепоток:

– Пошли, пошли со двора. Не то в погребу погребу-у...

И завывло ветром-позёмкой.

Братья и лопаты побросали, друг на друга смотрят: в уме ли они?

Тут и слышалось им: поёт кто-то под землёй. Идёт песня нутром земным туда, где стояла раньше Дарьина пластанка.

Братья за песней как привязанные пошли, сами не знают, что делается с ними.

Уж было через плетень в Дарьину ограду полезли следом за тем голосом. Да только видят: стоит за плетнём Паруня. Живёхонька. Будто не её сейчас плывуном в погребе залило. Стоит Паруня и ладошкой братьям путь загородила: мол, нет вам дальше дороги и ходить не смейте.

Сказать ничего не сказала, поглядела и отвернулась, и пошла к лесу. Пошла в ту сторону, куда ночью Дарья-певунья Семёна унесла...

Федорушка седьмая

Сколько людей по земле ходит, а нет такого человека, чтобы с другим спутать можно было. И примет-то у нас: душа да тело. Поглядишь на человека один раз и уйдёшь по жизни разными дорогами. Повстречай потом забытого, маяться будешь: где это он мне попался? Разве уж вовсе перевернёт его, перекрутит... Про душу другое.

На балалайке три струны, а что вытворяют! В человеке же струн несметное множество. И каждый проходящий норовит настроить их на свой лад: попадёт умный – поют струны, подвернётся пройдоха – стони да охай, нагрянет дергач – садись да плачь...

Может, к тому времени, когда умному очередь подойдёт, струны те пообборваны висят. По связанной же струне один дребезг катится, под музыку такую черти пляшут.

Глядишь на такого человека: живёт – могилу ищет. Рядом с ним больно себя здоровым осознавать.

Про одну такую горемыку, про Федорушку, помнил народ с малых её годов. Жила Федорушка – от людей пряталась, неся по миру убожество своё непоправимое.

Годов с пяти принялась она в голову расти, после того как, сорвавшись с колодезного сруба, просидела ночь целую в гнилой темноте.

До полудевки уж дотянула Федорушка, а всё-то в одну варежку могла она втиснуть обе руки, ребячью одежку отдавали ей на донашивание, и верилось-казалось, что вся Федорушка уложена в голове своей, большой и крепкой, как семенная тыква.

А ведь не получилось бы с Федорушкой такой беды, кабы за нею был хоть малый догляд.

Какой там догляд, когда одна мать на ошестёх сорванцов да на седьмую Федорушку руки ломала? Ну и споткнулась на непосильной работе.

А с такими-то руками безрукими, какие у Федорушки остались, зыбку качать и то – пойдя попробуй!

Парнишек народ кого в кузницу пристроил, кого в подпаски загонялой, вместо собаки, кого в лавку затрешины хватать. А Федорушке одно дело – милостыню просить.

Ходила Федорушка, годы вела...

Тут возьми да подвернись весёлая барыня, самого губернатора жена.

И пёс её душу знает, какого она лешего искала в наших заплатанных краях? Губернаторёнка своего за хвостом возила.

Этот самый гнаторёнок и заметил Федорушку.

– Ой, – орёт, – маманька! Кукла на завалинке сидит! Купи!

Купи да купи. Вынь да положь.

А ей, барыне-то, по душе, что по меже, – лишь бы юбку не вымарать.

– Поскольку ты на другое дело не пригодна, – говорит она Федорушке, – беру тебя вместо забавы. Садись на задке и ногами помахивай.

Так вот и умахала Федорушка от смеху на потеху. Как сам губернатор увидел её, поразился.

– Кого ты, – спрашивает, – матушка, привезла? О-хо-хо, – ржёт, – пузырь на вилке. Ты, – говорит, – матушка, утром по гостям пошли: пущай соберутся поглядеть.

Барынька муженьку рада угодить. Нарядила она Федорушку по своей задумке: голову ей начисто остригла, щёки свёклой натёрла и выпустила вечером на пьяных гостей.

Стоит Федорушка среди разгульного хохоту, бегут-катятся слёзы, расходятся со щёк алыми пятнами на белом наряде...

Довольная губернаторша перстенёк на пальце крутит, а бородатый Расстегай скакуна через стол хозяину за Федорушку сулит...

Навеселились гости да и забыли про неё. Уторкалась под стол Федорушка, наревелась там и уснула.

Проснулась... Над столом голос губернаторши стелется в Расстегаево ухо раструбом:

– Да ты не бычься, брат! Ну, беда ли в том, что муженёк мой на скакуна твоего девку менять не хочет? А ты не торопись. Наиграется. Уродство, оно надоедливо. Придёт время, так отдаст. А ты Федорку эту с каким-нибудь там пьянчугою повенчай. Наплодят они тебе таких выродков, каких свет не видывал. Да за такой цирк тебе не одного скакуна дадут. Что ни год, то урод! Прямая выгода!

Федорушка даром что не мудра была, а поняла, к чему губернаторша клонит. Сомлела вся: как беду отвести?! За кого спрятаться? По губернии бежать, всё равно что на сковороде жариться: и перевернут, и посолят, и на стол подадут... А бежать надо.

Дождалась она, когда Расстегай с губернаторшей уйдут, выползла из-под стола, по коврищу мягкому не стукнула, по сениям протемнила, не звякнула, скатилась с высокого крыльца... только мерин Расстегаев храпанул у привязи, только сторож трещоткою прокатал тишину...

Выскользнула за ворота, а там баба хмельная на краю канавы сидит, никак сама подняться на ноги не может.

– Ой, лихушки мне, – тянет она к Федорушке грабастую пятерню. – Подай подушку-перинушку. И у тебя нетути? – И запела пьяная:

Соломцы б клок,
Да поила чуток,
Да горькой налей —
Помирать веселей.

Дёргает баба разутой ногой и приговаривает:

– Слышь-ка, девонька? Хавронья я Свиное Рыло. Чо уставилась-то на меня? Звезду ене-ральскую увидела? Тащи меня за уши из грязи домой.

Принялась Федорушка Хавронью из канавы тащить. Хоть мала силёнка, а к силе прива-рок.

Хавронья баба здоровая. Закондыбала по улице. К дому подходить стали, совсем твёрдыми ногами пошла. В избе лучину запалила, рука не дрогнула.

Чудно Федорушке показалось и то, что в доме у неё не корки да сухари, а калачи на сахаре.

Ой, взяла беда расчёта, вышла в дверь, вошла в ворота...

«Будь ты трижды неладная! – клянёт себя Федорушка. – Спряталась, что дитя малое: голову в подклеть, а задок под плеть...»

А Хавронья Федорушку уже и ко столу манит.

Поела бы Федорушка Хавроньиных калачей, да кусок в горло не идёт.

– Чего ты, не сглотивши, икнешь? – спрашивает Хавронья. – Меня, что ли, испугалась? Да ежели мы, простодумы, начнём друг на дружку волками смотреть, так загонщикам нашим останется шкуры наши готовыми по кучкам раскладывать. Чем яростней мы будем злобиться, тем больше пойдёт этих шкур на барские розгульни. Может, и есть у тебя нужда людей бояться, да сегодня отпусти сторожа... В моей избе ни один живой глаз тебя не поймает. Не любят меня проныры. Боятся. На улице сам губернатор, увидевши меня, торопится по делам. Потому, что за меня темнота людская заступу поставила: оборотнем живу я! На шепотке-то за моей спиной всем я: Хавронья Свиное Рыло. А в лицо на голосе будь здорова, Хавронья Савишна! По моему же понятию, так за мною пусть хоть хвост волочится, лишь вперёд коровою не мычать. Ещё я так думаю: значит, для чего-то я нужна оборотнем, раз уж народ так придумал...

Эхма! Кабы не оговорка, была бы в уме Федорка...

Хавронья, должно, вразумляла Федорушку своим откровением, а той уже привиделось-прислышалось, будто захрюкала хозяйка после слов своих страшных.

И дня не прожила Федорушка у Хавроньи. Утром чуть свет нырнула она в подворотню и попала... как из трубы в трубу, только поуже: за воротами вот он!.. Сам Расстегай брюхо на седле везёт.

Федорушка заметалась по улице, а он за ней верхом, а он впритруску... Правит скакуна за Федорушкой, а сам заливается со смеху.

Металась Федорушка, металась, пока не сунулась носом в землю.

А уж Хавронья тут. Заступила дорогу Расстегаеву мерину и идёт на него всем телом. Пятится мерин, схваченный за узду крепкой рукою.

– Смотри, куда прёшь! – говорит Хавронья Расстегаю. – Назююкался с утра-то! Ещё б ты борзых на сироту натравил, брюхо ты безмозглое!

Опомнился Расстегай, спесь величать его принялась, гордая заноза сквозь седло колет, да так ли глубоко, что он по самые уши кровью наливается...

Видит Хавронья: пора прощаться. Припала она губами к мерининому уху и что-то крикнула. Хватанул мерин по улице, пошёл через канавы плясать, чесать бока о заборы.

Расстегай руками машет, верещит по-свинячьи да плюхается колотым местом об седло...

Укатил мерин седока за городище, там хряпнул где-то оземь, и... доставили проезжие люди того Расстегаю на губернаторов двор еле живого. А скакуна до сей поры в поле ищут...

Хавронья же Федорушку домой на руках принесла.

Лежит Федорушка на лавке – впору под образа...

– Ты хоть имечко своё помнишь ли? – бьётся над нею Хавронья.

– Федорушка, – отвечает сирота, – седьмая...

– Ну и ладно, – соглашается Хавронья, – седьмая так седьмая... Годов-то тебе сколько? «Седьмая», и всё тут.

Ну а на губернаторском дворе сыр-бор разгорелся: какая-то там Хавронья Свиное Рыло и посмела над барином шуточки шутить! Бог знает, что бы сам губернатор тогда сделал, кабы дома был. А губернаторша ногами затопала, дворовых в загринок:

– Доставить сюда Хавронью! И Федорку кнутом, чтобы не куражилась вперёд!

Хавронью привели, а про Федорку правду сказали:

– Не можно трогать: родимчик её колотит.

Губнаторша и пристала до Хавроньи один на один:

– Держи ответ, баба, как ты на девку порчу навела?! Мы по доброте своей душевной сироту в доме пригтели, а ты увела, да и зельем опоила?! Не будет тебе от нас милости! И не проси, и в ноги не падай! Эй! Кто там! Волоки сюда верёвку! Вяжи её, чтобы судом своим судить!

– Ну чего ты, барыня, визжишь? – говорит ей Хавронья. – Аль не слышишь: голос-то у тебя перехватило... Давай, што ли, сама я холопьев твоих покличу...

– Стой! – машет рукою на Хавронью губернаторша: без тебя, мол, обойдусь...

– Без меня так без меня, – смеётся Хавронья. – Ступай, матушка-барыня, зови своих холоуев. А я погляжу, как это у тебя получится.

Шаг шагнула губернаторша к дверям да в юбках и запуталась, другой шагнула – на пол грохнулась. Поднялась было да снова ухнулась.

Хавронья хохочет, а губернаторша не сдаётся – ползёт... загребает да ползёт...

– Ну, ежели ты такая упрямая, – говорит Хавронья, – век тебе ползать!

Перешагнула Хавронья губернаторшу и дверью хлопнула.

Приехал губернатор домой: холопы гнутя в сторону от него, шепчутся по углам, торопятся каждый своё дело делать.

Губернатор в дом, а там жёнушка его уползала до того, родимая, что на спину перевернулась и похрюкивает жалобно, будто что сказать хочет.

Работники, видя такую беду, про Хавроньин-то приход и сказать боятся: как бы кому самому поползнем не сделаться!

А Хавронья без головы, что ли? Будет она ждать, когда это губернатор до истины докопается!

Видел народ, как шла она по улице с узлом да Федорушкой, а куда они подевались, никто не сказал.

Майкова яма

Догадывались люди, но сказать точно никто бы не сумел, отчего это занялась полымем крепкая изба Егора Майкова. Жил Егор тихо, на отшибе от деревни, за перегустым ельником, у топкого Комарьего болота. Шибко не богатился тот Маёк перед народом, но гордевал!

Не успели оттеплиться уголья недавнего пожара, а уж на погорелом месте новые стропила в небо коленки уставили. Откуда у простого мужика такой достаток? Ведь не по добытку еда – видима беда...

И сразу встрепенулась вся округа. Стал народ говорить открыто о Егоре Майкове. Будто выходит он сумерками на дорогу в самую распутицу либо метель, зазывая к себе во двор умотанных непогодю путников, добрым хозяином отворяет перед ними ворота...

Со двора же выпускает Маёк своих ночевальщиков только вперёд ногами! Будто бы опавает он гостей чем-то больно зыбким, а потом прячет в чёртовом окне топкого Комарьего болота. Той же ночью угоняет Маёк в город осиротевших лошадок да там и сбывает их кому-то, не менее осторожному, чем сам. А что телеги да брички – так ни одна печка ещё огнём не подавилась.

Хоть и побаивалась деревня Егора Майкова, но ведь не шалыга какой-то мимо его двора пробежал да пустил в ограду красного петуха? Кто-то свой нашёлся – смелый, чтобы показать козлу зеркало. Закрутился Маёк, а бодать-то и некого...

Вот и стал он куда как чаще прежнего в деревню захаживать, с людьми останавливаться говорить. Должно, выискивал того смельчака.

Только с бедою чаще всего получается так: ты ждёшь её из-за лесу, а она из-под навесу. Сам же её в дом и привёз Егор Майков.

Жениться-то ему уже давно пора миновала. Только не нашлось, видите ли, пары в своей стороне. Задумал он искать ветер за морем и поехал в извоз по навоз. Привилась к нему на чужой стороне бойкая бабёнка, такая ли хваткая – об четырёх сторон крючья. Пряма не вымешена, да выпечена.

Вжилась эта Прилада в Майково хозяйство, как въелась! Все работы по достройке дома на себя взяла, все затраты расписала грамотно! Скоро уж Маёк у неё, считай, в приказчиках бегал.

Покуда мужик достраивался, об своём месте в доме раздумывать времени не хватало. А вот когда улёгся с молодойкой на мягкой перине, тут ему сон и слизнуло тревожною думкою.

Видать, не из последнего Маёк избу поднял. И хотя молодая его такую ли сонницей прикинулась, что и не перехрапишь, однако стал Егор подозревать, что пчёлка эта не спать в поле прилетела. Долго ли собаке учуять палёное?

Скоро и Прилада заметила, что хозяин ночами только одним глазом спит, давай и себе ото сна отмаргиваться. И ведь укараулила гадюка аспид! Когда Маёк ночью полез в подполье да откопал там увесистую суму – уже в который раз перепрятать, молодуха на то дело подумала с улыбкой: «Теперь можно и выспаться хорошенько».

Но не нашла она утром сумы заветной на загаданном месте, только перехватила тревогу в Егоровых внимательных глазах. Однако и виду не подала, что жарко ей сделалось. Притихла до времени и стала так крепко Егора любить, что тот принялся в зеркало смотреть да гадать: «Хрен их, баб, разберёт, за что любят?»

И всё-таки поверил комар носу – сел на ладонь!

Разнежился Маёк на пуховиках, бабьим теплом гретых, всё открыл своей зазнобе: и пошто вынужден прятать суму, и каким путём эта забота нажита. Весь растелесался! Открытая же тайна – как дырка в кармане. Тут-то он и вовсе лишился покоя! Самуё Приладу не хотелось ему во зле подозревать, а вот языка её бабьего стал шибко опасаться.

«Ах ты, голова садовая! – ругал он себя. – Для чо я перед нею потрохами-то трёс? Не дай Господь, выхвальнется где! Тогда – каюк!»

Обсуровел мужик, захмурел: в дело ли, в безделицу – всё прискребается к бабёнке:

– Чего ты надысь по дворам жигала? Об чём с бабами на лехе гутарила? Шкуру спушу, халда!

Ну а молодайка была не из тех, кто к упряжке приучен. Стала она на дыбки вставать, брыкаться.

– Я те не овца, – говорит, – стригчи меня подённо. Как пришла своею охотою, так и уйду не твоими хлопотами. Только проводы гармонить погоди! Ведь я, за сердце к тебе моё бабё да чёрную от тебя ко мне неверу, увяжу в узелок, возьму в дорожку дальнюю погань твою тайную. Не сгодится в беде, так помогнёт в нужде...

– Э, нет! – ломает её Маёк. – Врёшь! Снесла б гуска вола, да гузка мала. Твоя путь-дороженька только одним мною теперь будет прорублена. Вот и ключик, – орёт, – от той самой калиточки, за которой она выстелилась.

И выхватил из-под лавки топор.

Но на ту пору торкнулся к ним дорожный человек. Здоровый детина! Полтора Егора в нём будет! По белу дню дело то было. Прймай, хозяин, гостя незваного, коли дверь незакланная.

И такой ли брехливый мужик оказался – и молотит стоит, и молотит. Спасу нет!

Покуда Егор языком крутил с тем проходным говорухой, молодайка и сгнула со двора. Полное лето цвело кругом, а летом каждый кустик ночевать пустит. Беги теперь, ищи ветра в поле...

Побежал Маёк по лугам, погукал по лесам – нету!

Что делать? Ветер не скажет, где баба спряталась.

«Ещё хорошо, – думает Маёк, – что места не указал, где добро зарыто. Досталась бы мне от сумы верёвка».

Однако не довелось Егору долго радоваться: в аккурат на Илью кто-то запохаживал по ветренице⁵ – тонь-тонь и умолкнет! Будто бы найти кому-то надобно в потолке сквозную дырку да поглядеть, чем это хозяин в избе занят. Почему так долго сочится на улицу сквозь плотные занавески нещедрый свет? Да ещё под праздник? Да ещё в грозовую погоду?

И хотя Егор на этот раз только и делал, что сидел в думах на лавке, ухватившись за голову, всё-таки поспешил задуть лампу. А тут что-то ка-ак хряснет поперёк матицы, ажно весь избяной костяк дрогнул, глина с потолка посыпалась, икона и та глаза вылупила! И, словно над её испугом, громовым раскатом грохнул во дворе дикий хохот.

Ах ты, святой Маркел – епископ римский!⁶ Упаси Бог кому такую стужу на спину принять! Бороду Маёк не может до груди прижать – топорщится, набитая страхом.

Упал мужик на колени и загугнил, на икону пялясь:

– Пресвятая Дева Мария и ты, Вседержатель-заступник, поглядите на меня! Вот вам крест и посула: по свету полдобра отволоку на горушку, ко батюшке Феодору. Пушай он раскидает православным нажитое и добытое мною во спасение грешной души моей. Да пушай окропит он святою водой сатанинские подступы ко двору моему. Не выдайте, заступитесь! Дайте сбыться благому умыслу моему!

Целую ноченьку Егор века с веком не свёл: молился да прислушивался, как кому-то на ветренице то плясало весело, то оралось бесовскими голосами. А когда в оконце засветилось раннее утро, увидел Маёк, что целых пятеро чертей поскакало луговиною до Комарьего болота. Вона!

⁵ Ветреница – чердак.

⁶ Молитва сотворена с перепугу.

И сразу другая молитовка опутала Егорову душу: «Когда черти не задавили меня впятером, значит, прибегали они только повеселиться у золота. И то! Зачем лохматым деньги? Штаны да шубы им на ярмарке ж не покупать? Нужен им, поди-ка, только золотой звон, чтобы веселей плясалось».

Эта думка заставила Егора по-новому распорядиться нажитым: «Куда бы мне подале от двора закопать чёртову игрушку? Что как подсунуть её анчихристовым внукам вместо бала-лайки прямо в болото? Пушай себе веселятся! Какой умник и догадается, в чём дело, так в трясину не полезет. А чёрт не баба, деньги не разбазарит. Натешится и отстанет...»

Сряжено – слажено. Откопал Егор суму свою, уторкал её в большой глиняный горшок, сковородкою плотно закрыл, края варом наглухо залил. После того сунул горшок в рогожу, закрутил пеньковой верёвкой и на долгой удиле кинул в Комарье болото. Прямо в чёртово окно. Другой конец удилы, прикрутивши к лозине, измазал грязью и пошел довольнѐхонький к себе домой.

Да! Спешил зяблик за весною, а догнал стужу...⁷

Маёк думал, что звонкою игрушкой ублажил бесово отродье, но только сильнее разо-рошил болотный улей. На другую же ночь – по двору хохот, по застенью вой! В двери ломаются, в щели ставень сверкают адовым огнём, через трубу ругаются по-плохому.

И всё-таки пересидел бы мужик чёртово озорство, да главного не мог он предвидеть, что шука знает, как ерша глотать!

Перекинулась болотная свора на деревню, стала орудовать с понятием: в каком дворе или рядом побывал Егор днём, там ночью шабаш затевается. Ребятишки в деревне на нет перепуганы, старики, которые совсем слабые были, в неделю перемёрли. Может, и побежал бы Егор, вытянул из болота игрушку ту, да бабы каждодневно с иконами на болото затеяли ходить.

А черти знай себе шабашат!

Стали люди от Майка, как от прокажённого, шарахаться: малыцы с визготнёй в подворотни лезут, молодайки открещиваются от его сглазу, кабацким захожалам и тем в каждом лице Егорова образа грядёт... Спяну-то они суют один другому кукиш в нос да волтузятся между собою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Самому кабацкому наливайке сколь разов кидали в загорбок. Не зря же он, завидя на дороге Егора, дверные створы на засов стал закладывать.

Надумал всё же Егор выудить золото, отнести во храм, как первый раз обещался, да с Богом помириться. И пошёл! Куда денешься? Богу ведь не скажешь – ступай сам вытаскивай.

Подошёл Маёк к болоту в самое межвременье: бабёнки с иконами уже домой убрались, а чертям ещё рановато вылазить со дна. Вот и видит мужик: копошится кто-то у лозины!

«Ворюга! – понял Егор. – Ишь ты! Не пасено, а припасено! Щас я тебя в болотный кисель-то окуну!»

Тихарём докрался Егор до лозины – мать честная! Разлюбезная его стоит у самой топи и патлами трясёт.

Так весь дух затаённый из себя и выпустил Маёк.

Дёрнулась Прилада, обернулась на выдох да и шемонит в темь:

– Ты, что ли, Ефрем? Где там остальные-то? Пора уж обряжаться в чертей...

«Ах ты, дура-голова! – ругнулся в себе Егор. – Вот ведь от какого чёрта напасть моя ведётся! Как я раньше до этого не додумался?»

Кинулся он вперёд да ка-ак шугнёт свою зазнобу и смахнул её с кочки в самое пекло воющее!

Барахтается бабёнка в топкой лохани, цепляется за осклизлые её краешки. И подвернись ей под руку Майкова удила. Ухватила чертовка за ту удила, обратно на кочку лезет. Егор

⁷ Народная примета: если зяблик прилетает весною вперёд жаворонка, значит, быть холоду.

верёвку от лозины отмотал – сперва хотел совсем упустить, да пожадował богатством и начал бабёнку удить: то дёрнет уди́лу, то ослабит...

Как ни цеплялась косматая за скользкую верёвку, а всё-таки ушла с головою под рясковый настил. Егору бы подождать, когда ей болото само руки-то разожмёт, да слышалось ему, что кто-то зовёт бабёнку знакомым именем. Заторопился уди́лок – силой дёрнул верёвку! Забыл, что стоит не дома на полу. И повезли скользкие подошвы хозяина следом за его милашкою.

Только теперь Егор Майков чистосердечно раскаялся в своей страшной жизни. Но и вернуться бы он успел в чёртовом окне, успел бы, может, и уцепиться за кочковые похламки. Только шалишь, паря! Наперёд разуму рукой водишь!

Из месива из болотного вдруг вылезла хваткая пятерня и поздоровалась с Егором за его протянутую руку. Крепко поздоровалась! Соскучилась, видно, хозяйка болотная по добру молодцу. За собой потянула гостя дорогого потчевать на радостях вонючей кулагою. Не успел Маёк даже глянуть на дружков своей зазнобушки, прибежавших к чёртовому окну поглядеть, какой добрый картуз оставил им Егор на память об себе. Да ещё на глаза вырвался из болота здоровенный пузырь и лопнул сердито...

Слышали в деревне люди, как до самой зари перекликались на Комарьем болоте тревожные голоса, кто-то всё звал кого-то, аукал.

Доаукался, нет ли? Но с той самой ночи бросили черти по дворам прокудить.

С годами болото усохло, на месте чёртова окна легла тряская ямина. Забыли люди и об самом Егоре Майкове и вот впадину ту болотную и по сей день Майковой ямой зовут.

По Зинке звон

Кабы дурак судьбу выдумал – смехом бы всё проходило. А то судьба, что лицо твоё, вместе с тобою на свет является. И уж когда лицо видом своим для иконы не вышло, сумей так приспособить его к жизни, чтобы хоть люди от тебя не прятались. Но и на это умение тоже родиться надо.

Эх, жизнь наша... пополам с мякиной!

Кузня Никифора Лопатина стояла у села, как лавка у стола, под крутым яром у самой старицы, поросшей кувшинкою да одолень-травой. Завалена кузня была всяким крестьянским барахлом.

В сосновой пристройке, под одной крышею с кузней, лепленной из самана, ютился Никифор с сыном, Серёгой Чугунком.

Сокол! Больше ничего не добавишь. Сокол ясный был тот Серёга. Не за черноту его буйных волос назван был парень Чугунком. За то ещё, что жило в нём долгое тепло про каждый день, про всякого человека.

Сам Никифор за долгий свой век нахватался над наковальней палёного: в груди его сипело, свистело и булькало, как в подмокших мехах. Всей и работы Никифору осталось, что быть сыну бестолошным указчиком. Сядет, бывало, старый у входа в кузню, кашляет через порог да на Серёгину работу выркает:

– Ставь на попа! На попа, говорю, ставь! Во! Теперича окалину с подхвостника сбей. Окалину, говорю, сыми! Да не тут, дьявол тебя подними! Срежь с держака!

Чугунок знай себе шпарит да на батькину воркотню шуруется.

Как-то на команде поперхнулся старый кузнец: заклюкал, захрипел и плюнул в землю кровавой пеною.

Подхватил Серёга отца, в пристройке на постель уложил, заварил троелистку...

Отвёл, однако, Никифор сыновью руку с ковшом, на икону глазом покосился. Чугунок за божницей смотанную тряпицу нащупал. Распустил тряпицу, в ней деньги стопочкой.

– Прими, сынок, – говорит Никифор. – Тебе коплено: горбом добыто. Помру – бросай кузню, ступай на чистый воздух.

Передохнул отходной и договорил:

– Женись после похорон. Господь тебя благослови!

И помер.

Бабка Ланида с товарками обмыла покойника. Чугунку приказала обмылок спрятать – супротив мёртвой косточки средство верное! За пятки велела подержать отца, чтобы ночами не блазнился. И обрядила Никифора в дальний путь.

Мыльную воду с покойника Ланида под крыльцо спедила, шепча:

– Злой дух, корыстная душа, лихое око, упади на склизи – не подымись, на тело чистое не подивись, не оставь своей печати: мёртвому – хулы, живому – печали...

До свету Ланида читала над усопшим молитвы, убрав с печи заслонку, выюшку вытянув напрочь, двери да окна приоткрыв, чтобы «анделы-арханделы, духи святые вольно доступились к душе раба Божия Микифора».

Когда надо, опустили гроб в землю, на крест венки берёзовые повесили, помянули хмельно, поговорили хорошо о покойном и разошлись.

Эхма! Хорошо воют, да не по нашему горю...

На поминках-то Чугунок про отцов наказ рассказал, о деньгах вспомнил, не потаился.

Отбыли девять дней, сороковки отвели. Всё честь честью! И закружились вокруг кузницы любезные свахи, что слепни вокруг живности. Да и кто ж от такого жениха отвернётся.

Залучать в гости парня принялись, охаживать. Тёлок своих наряжают да за всяким неделом на кузню шлют, будто Чугунок раньше их не видел, будто до отцовской смерти слепышом жил.

Полюбуется Серёга на расфуфыренную кралю, похвалит, когда шибко надоест, и, одно дело сделавши, другое начинает.

Помнётся жениховка у дверей кузницы – идёт домой, как за покойником.

Однораз строчит Чугунок по деревне, торопится куда-то, а Чернышиха ему в окошко шумит:

– Погодь, выйду... – Выбегла из дому, юлит: – Зашёл бы ты к нам, Сергей Микифорыч. Кобыла вчера охромела, окаянная. Другой день припадает на левое заднее.

Чугунку понову, што ли, за таким делом дворы топтать? Обошёл кузнец кобылу, дужно по крупу огрел, она и заплясала на всех четырёх. Фёкла ж Чернышёва, на лице удивление, завела:

– Надо ж так! Ну ты, поди ж ты! С хвоста подковы заколачивать!.. От скотинка! Чует крепкую руку. А вчера падала. Мужик мой, как за чашшою-то ездил, замаялся. К погоде, должно, падала-то. Да ты, Сергей Микифорыч, заходи в избу: ножи соберу, литовку хорошенько отбить бы... Мой-то, солонец непутящий, кол и тот в рогатину тешет.

Пригнулся Чугунок, в летник ступил. Чернышиха суетится: четверть на животе несёт, солонину лучком присыпает...

– Ты, – говорит, – давай-ка, Микифорыч, не ленись, а я покуда работу для тебя соберу.

За «нет» да и за «не хочу» опорожнил молодой чаплыжку, другую опростал... По редкому делу быстро повеселел.

Фёкла ножами бренчит, а сама всё наливает до края. Линула и себе:

– За покойничка, сынок, за отца твоего неможное выпью! Золотой был человек, земля ему пухом! Душевный... Ты весь в его уродился.

Как тут не выпить?

Дале уж и не упомнит Чугунок, что было. Ухнул третью... И поехал потолок на стену. Запел кузнец:

Катя, Катерина, купецкая до-очь.

Прогуляла Катя с вечера всю ночь...

Поёт паря и не ведаёт, что опосля песня горячий слезою ему выльется.

Рано, чуть свет, проснулся кузнец в летнике на полу. Хотел он было, хозяев не будивши, домой тихонько уйти. Вышел во двор, косточки на зарю расправил, вчерашнее вспомнил. Плюнул и подался огородом до колодца – лицо сполоснуть.

Тут Чернышихина соседка Марьяниха уже через плетень глядит, здоровается:

– Росное утро ноне, Сергей Микифорыч... Хороший денёк будет...

– Должно... – отвечает кузнец.

– Как спалось-то на новом месте? Поди-ка с молодайкой-то и снов не поглядел?

– С какой молодайкой? – опешил Чугунок.

– Во! Нате вам! Ну буде. Чего краснеешь? Шпарят тебя, что ли? Фёкла-то мне ещё с весны триндила про Зинкины по тебе вздохи. Извелась девка совсем. Она хоть и дурочка, а теперь уж куда денешься? Не крути башкой-то – не дышло... Как спать, так – свой, а встал, так – вой?

– Да тебя что, Марьяниха, муха укусила? Какая Зинка? Ты што языком-то мелешь? Ступай проспись!

– Ах ты, мерин боярский! Мне ещё и «проспись»! Тьфу! Будь ты весь в крапиве, поганец!

Повернулся кузнец от Марьянихи – из огородной калитки дед Маковой идёт, посошком ботву картофельную отгибает – в росе онучи не замочить бы.

– А! Молодой хозяин! Ни свет, ни заря, ты уж за поливку?... Добро! Везёт же людям. Ты, Сергей, Марьяниху не слухай. Живи! Она, Зинка-то, хоть и не крупяного помола мука, да с такою женой спокойней. Ить как в народе говорится: «На худую кобылу вор не родится». Пошто молчком-то? Свадебшку б какую-никакую сыграли... Да Бог вас рассудит. Живите, как знаете.

От разговора во дворе Фёкла с постели поднялась, на крыльцо сонная вышла, при Маковее шумит на всю округу:

– Чего-то ты, зятёк, рань пасёшь? Работа – не волк... Управимся за день-то.

Сам себя не помня, кинулся Чугунок в летник, упал на подстилку, Зинку Чернышёву представил себе.

Лихо одноглазое, а не девка была Фёклина дочь: конопата да угревата, потлива да рассупониста, вокруг её двух рук пальцами не сцепишь...

И то бы ещё терпеть можно. По голове Зинкиной стригун пробежал. Чернышиха, после лишая, клоки остатные с дочерниной головы состригла, на сковородке спалила да с гусиным салом перетёрла волосяной пепел. Теперь тою мазью мажет Зинке голову – лишай выгоняет.

И не подумал кузнец, когда за стол Чернышихин садился, что этакую глызу Фёкла ему в невесты прочит. Пойдёт теперь кататься по языкам беда Чугункова.

– Во как оплела! Оплела туго! – ударил кузнец кулаком в пол. – Спалю!

Но не спалил, не разнёс Чугунок на щепы собачью эту клеть.

Смирился кузнец, вихры свои чёрные, буйную головушку подставил он под икону вровень с повязанной платочком, смердящей гусиным салом, стриженной кочкой придурковатой невесты.

Была свадьба... Ой, была свадьба! Уревелись девки допьяна, охмелели бабы до тоски, проводили други Чугунка в этакую дальнюю дороженьку, место хитрое искать всю жизнь – гробовой свободушки.

Днём свадьбу сыграли, а к ночи жених в кузницу свою ушёл.

Зинке и той передалась Чугункова кручина: задумалась, загоревала...

Плачет креть, да всё на ветер.

А Фёкла её со своей полки крестит:

– Буде тебе, конопатая, вавилоны разводить! Чо слюни-то распустила? Смотри, подушку сгноишь. За гриву парень не удержался, а за хвост не удержится – придёт.

Всю ноченьку просидел бедняга Чугунок в пристройке своей без сна.

Утро в оконце ряднушкою заткнул – и свет ему лишним показался. Только горе-то наше ходит не по жнивам, а по жилам...

На третий день бабка Ланида, что Чугункова отца обряжала, глядя с яру в распадок на Чугункову пристройку, толмила бабам:

– Поди-ка и обмывать нечего будет? На Ахтырския-то Пресвятую Богородицу⁸ муха семь раз на дню плодится. Изрешетит тело – сквозь пальцы поползёт. Вечеру наведаться надо ж.

– Надо ж... – толкуют бабы. – Ещё и вправду сунется кузнец в петлю.

Не выпало, однако, бабам благородство разводить. Сам кузнец на третий закат из пристройки выбрел. Но что это был за кузнец?

Будто кто по шее колом его стебанул, будто руки ему повывёргивали – на жилах висят, будто неделю держали его в грязной воде да неополоснутым на люди вывели.

Но бабы всё полегче вздохнули:

– Слава Те, Господи! Пронесло...

⁸ Ахтырская Пресвятая Богородица – 15 июля.

Начал Чугунок потихоньку в кузне колупаться. Что ни день, звончее поёт наковальня.

В первый Спас⁹ пошли девки льны в поле глядеть, парни овсы шелушить да в колодцы горстями кидать – касаткам на зимний корм¹⁰.

По лугу костры развели – печь молодую картошку. Хрустели огурцами, покуда Авдотья-сеногнойка¹¹ не согнала их в кадки. Ели колоба из новины с молодым сотным мёдом.

В гущу доброго веселья нет-нет да и вольётся печаль, прокатит по душам звоном Чугункова молота.

– Колотится женатый бобыль, – жалеют его парни.

– И в Христово воскресенье нет болезному веселья, – вторят девки.

Поговаривают так о Чугунке, и никому-то про себя даже не спросится: отчего это Лизавета Кудиярова конец платка закусила?

Давно ли девчонкою-недоумышем бегала Лизка по кувшинки утренние к заболотившейся старице, за Лопатинову кузню? Давно ли из-под черёмухи обслонённой, обжигая крапивую голенастые лытки, подглядывала она «разлуки». Видела, как Серёга Чугунок, разгоревшись от частой беготни, ловил лукавую «разлучницу», чтобы тою же минутою в бессчётный раз во весь дух лететь за новой соперницей.

А ноне на вот те! Кусает платок, прячет руки свои Лизка Кудиярова, чтобы унять в ладнях бегущую от сердца дрожь. И никому-то не видно покуда за пеленою обманного веселья да под скорлупою отроческой линьки лица выбродившей любви.

Набрыкли, разнежились молодые земляным теплом, ословели от веселья и всем гуртом запылили к деревне.

Одна Лизка, не залучённая покуда сердечными тайнами в догляд подружкам, попридержалась на дороге и, забытая всеми, в заревой тишине свернула к старице.

А Чугунок в кузнице своей выколачивал шкворень для парной брички, прислонённой без колёс к навесу, где лежала куча берёзовых углей да охапка хворосту у кедровой поленницы.

Хватил Чугунок готовый шкворень клещами поперёк, сунул в шайку с водою. Зашипело, заурчало, обдало кузнеца едким паром. Выхватил кузнец шкворень из шайки и отошёл к порогу – дохнуть ночного воздуха. За порогом Лизавета стоит, кофту теребит.

– Чего тебе? – озлился Чугунок. – Мать, што ли, потеряла?

– Батюшки! – отступила Лизавета. – Злой-то какой! Воды бы дал...

– На чурбане вон... пей!

Напилась Лизавета, ковшик повесила. Утёрлась краем платка, а дальше и не знает, что делать. И Серёга дела не видит. Мнётся, на девку поглядывает.

– Ты уж невеста, – говорит.

– Невеста, – соглашается Лизавета.

– Да. Идёт времечко, – вздыхает кузнец.

– Идёт, – откликается...

– Поди жениха уж подглядела?

– Жених – не жених, да не надо б двоих...

– Складно!

– Кому складно, кому накладно...

– Оно так...

Постояли, помолчали... Знать, было об чём. Беда-то разная, а горе одно.

– Пойдём, Лизавета, – зовёт кузнец, – повечеряй со мною, одному-то в горло ничего не лезет, а там я тебя провожу.

⁹ Первый Спас – 14 августа.

¹⁰ Считалось, что ласточки не улетают, а ложатся на дно колодцев.

¹¹ Авдотья-сеногнойка – 17 августа.

Согласные, ушли в пристройку.

Тишина укрыла кузню закатным крылом. Только медовый серпень на холодной заре шелестел отавой, да грачёвый грей за яром полоскал озимые чёрным вихрем.

...Уж и кукушка давно подавилась ячменным зёрнышком¹², и медведь лапу омочил¹³, и пожнанный хлеб на овины свезли, а кузнец всё носа не кажет на женин двор.

В Чернышихиной избе туман густой поселился: семейные ходят, друг дружку не видят. Ни ветерка свежего, ни лучика светлого...

Завтра – Успенье¹⁴, а они его празднуют уже восьмую неделю.

Вечером Фёкла квашню поставила, молоко в кринки сцедила, подойник на шесток опрокинула, кликнула Зинку с чердака, где горевуха бобы шелушила, и потянула её за собой.

– Пошли, что ли, чёртово семя. Будет когда конец муке моей? И спихнуть-то тебя, паразитка, не могу. Навязалась на мою голову... Ступай! Иди! В ноги падай!

Зинка было заупрямилась:

– Ай не видно те, маманя? Седло-то не по коню. Чужая ложка рот дерёт.

Фёкла себя ажно по ляжке хлопнула:

– Во, рассудила! Дура и есть. Да где тебе, дуре, понять, какой ложкой хлебать? Идём, говорю! Не то обоих вас прокляну!

Пошла угревая за матерью, как тоска за пьяницей. Подходя к кузнице, Зинка опять оробела: «Не пойду и не пойду». Фёкла канителится, а девка своё:

– Хоть убей, не пойду.

Во злобе досадной Фёкла так долбанула дочку по лысой башке, что Зинка с ног свалилась и завывала.

На тот вой Чугунок дверь в пристройке отворил, оглядел темь непроглядную, сказал в пристройку:

– Почудилось, должно... – И дверь закрыл.

Фёкла так вся к окошку и приросла: «Кому сказал?»

От малого света лицо её стало таким страшным, что притихшая было Зинка опять заскулила. Фёкла дёрнула её за рукав.

– Молчи, лындра заморская. Досиделась!.. Гляди, как муженёк твой Кудияриху обхаживает. Я его щас обхожу... Неси хворосту! Я им щас Успенье отпраздную! Чо стоишь, кикимора!

А у той «кикиморы» словно змея по спине ползёт – белее луны стоит, знобится в три трясучки.

Чернышиха сама под навес побежала, на ходу всё шипит:

– Я ж вам подкину жару! Я ж вас, голубки, выкурю. Вы у меня забудете и про любовь, и про разговоры...

Нахватала Чернышиха хворостин веником, уголья в горне кузнецовом раздула... Дверь в пристройку распахнула и шуганула веник огненный прямо под ноги Чугунку.

Мигом обхватил огонь кузнеца. Лизавете бы тушить пламя, а она припала к парню и задымилась сама.

Тут-то и поняла Фёкла, что натворила злоба её. Со страху бросилась она бежать распадком подальше от пожара. А вдогонку ей – долгий, как горе, наковальный звон.

Гудит наковальня чище вечеревого колокола, зовёт народ...

Люди, гомоня и обгоняя друг дружку, уже бегут с яра в распадок.

Поняла Фёкла: куда ей бежать-то? Некуда ей бежать.

Повернула она за толпою и, будто ничего не зная, понеслась обратно к кузнице.

¹² Кукушка замолкла – считалось, что подавилась ячменным зёрнышком.

¹³ Ильин день – медведь лапу обмочил, купанию конец.

¹⁴ Считалось, что с Успенья солнце засыпает. Начало молодого бабьего лета (с 28 августа по 11 сентября).

А там уж люди Зинку обступили, руки крутят.

Чернышиха упала перед народом на колени, голосит:

– Люди добрые! Дура ить она, дура! С малого ума ить она подпалила кузню. Лизку Кудиярову тут с мужиком углядела. Пустите вы её, дуру!

Расступился народ. И то! Что с дуры-то возьмёшь?

Чернышиха кинулась было дочку-то на радостях обнимать, да Зинка так на мать поглядела, что та истошно заорала и плашмя пала на землю.

А Зинка, не видя боле перед собою помехи, пошла напрямиком в огонь.

Тут и крыша рухнула.

Никто не помог Чернышихе подняться с земли. Обходя её, стал народ расходиться по своим дворам.

На другой день сговорились люди разобрать пожар да косточки, какие найдут, схоронить.

Не успели они спуститься с яру, как полетел им навстречу из пустой кузни наковальный звон. На яру мужики шапки поснимали:

– А ведь то ж по Зинке звон. По её безгрешной душе.

Ведьма

У времени-то сподручней взять премудрость давнюю, когда она скатилась к жизни по речам виденных тобою людей. И чего только по дороге не прицепится к ней? Обрастёт она, правда малая, уж такую непробираемой куделью придумок, что только руками разводишь да головой качаешь. Так ведь, не омочив бороды, не помоешь головы.

А знать нужно её – старинушку. Не затем знать, чтобы лезть в знать, а чтобы двоераз не спотыкаться об один камень.

Была, рассказывают, в нашем роду сибиряночка, Глафира Маркова.

Кто знает, каким отростком ветвилась она на нашем родовом дереве? Только не выпало ей на долю передать по крови красоту свою, возвеличенную многократными пересказами до неслыханного предела.

Должно, красота-то несказанная и бросила её зимним временем в бега, от руднишного хозяина. Выгнала её на Сибирский тракт, прямо под розвальни купеческим обозникам, понужавшим разлётных пристяжных солёным словцом. Так, смятую до полусмерти, и привезли её обозники хмельноголовые на постоялый двор. Кинули Глафиру в тараканий угол закоптелой мазанки.

Может, и лучше бы для Глафиры было, когда бы хозяин постоялого двора стянул её с лавки за холодные ноги...

Не рассказало нам время, куда и откуда ехал в эту пору по Сибирскому тракту смурной барин – ломливый скоробогатко. Ехал он, видать, изгаляться дармовыми деньгами над тёмным народом нашим, в подмогу нужде, и без того забрившей волю мужика.

И завернуло его на тот постоялый двор, где Глаферья ждала покаяния. Крякнул барин от изумления, увидевши в зачуханной мазанке красавицу Глафиру:

– Эк, какова, будь ты неладна вовсе! Откуда... такая? Гляди ты на неё, чисто – камень-одинец! Впору государю в позументы! А коли грань навести да золотом оплести, так и себе к чести!

Хозяин-то постоялого поддакивает. У него своё на уме: заботу с рук спихнуть.

– Я ить тожа переполохался сызначала. Думал, уж не барыня ли какая в ремьё обрядилась? Да слышу, во бреду-то она по-нашему, по-простому лемешит... Таёжница, знат-ко. Создаст же Господь, – вертится хозяин перед купцом. – Чище ведьмы!

Обозники и те разглядели девку. Лезут в мазанку надивоваться впрок... А ить на лечбу-то, бурундучьё вонючее, кукиш сунули... Никто и медного не разломил на лечбу-то.

– Будет тебе! – остепенил барин хозяина. – Определи-ка лучше девицу в горенку да чисто держи! Да гроша не жалеи – рублём вернётся! Ноне я в дела настроен, а скоро поверну назад... Смотри у меня! Чтобы к моему возврату девка у ворот стояла! Ежели помрёт, головой мне заплатишь! Уйдёт – ею же откупишься. С дороги лекаря пришлю. Гляди у меня! – ещё раз погрозил барин хозяину у ворот и трубанул довольный: – Эй, залётныя! Кати всеером! Перегибай дорогу с половины на четвертину-у...

И укатил.

Будто чудо чудесное перенесло Глаферьюшку из глиняной мазанки во горенку чистую, будто силы небесные одели её во батисты, будто чёрт из-за печки вывалился, подравшись с домовым, и назвался Иваном Петровичем – лекарем уездной больницы.

Да! Чего уж тут? Где деньги впереди идут, там все двери отворены...

Вот и перед Глашею заскрипела, отворяясь, такая дверь. Заскрипела, как заплакала. Выходили девицу грязные деньги, на ноги поставили, терзать сердце принялись.

– Чего это со мною делают? – пугается Глафериюшка, глядя на заботливую суету хозяев постоялого двора. – Откармливают меня, точно гусыню на Никиту¹⁵. Ой, чует сердечко моё девичье: загнут мне шею под крыло.

От вопросов Глафериных хозяин будто красным угольем давится, хозяйка молчит да каждое утро хлобыщет половики об забор – чистоту наводит. Хозяинята пупы грязные чешут от бродящей за пазухой смерды, шушукаются за дверною занавеской да пялят на Глафиру трахомные глаза.

Иван-то Петрович, купленный лекарь, тот всё пыхтит, всё ловит на коленях невидимые соринки да смывает в тряпицу из пропитого носа табашную гущу. И не понять Глаферию: то ли судит он её, то ли жалеет?

Эх, сердце ты девичье – клевер ты луговой... Ещё и ветер-то на полке, а уж голова с угару падает...

Обступили Глаферию страхи, облепили догадки. Сама же беда прилетела на лихом скакуне, следом за страстной седмицей Великого Поста.

С первым заутренним ударом пасхального колокола распахнулась дверь в горенку, занавеска дверная в сторону отлетела.

– Христос воскрес! – заглушил барин великим басом колокольный звон и крепко расцеловал Глаферию.

– Воистину воскрес! – хрупнуло Глашино сердечко и замерло, сжавшись.

А уж в горенку баринов ящик с трисильным хозяйским работником вносили длинный, что гроб, кованый сундук.

Глафире ж в ту пору шёл всего-то шестнадцатый годок. А было в её жизни радости, что кукла деревянная да толстое стёклышко, сквозь которое белый свет дрожал во семи цветах. А тут! Как в сундук-то кованый заглянула, будто через то стёклышко прошла, окунулась в радугу шелков-соболей.

Вот уж и выступает довольный большекарманник к обедне и ведёт, гордый, под руку разнаряженную Глафиру Маркову, не стыдась честного народа. А народ шепчется, указывает на Глафиру.

Вот уж и на паперть ступила Глафира, да тут и попятилась от костлявых рук попрошай-суменников, приковылявших к церкви по добрые христианские души – размочить нужду Христа ради.

Видно, какой-то из реможников понадеялся на парчовые наряды развесенневшейся красавицы, выкатил перед Глафирией грязные пригоршни коробом:

– Поддай калечке убогому...

И тогда брат кусошный торкнул просителя в загривок и загудел на весь приход:

– Кого просишь, мотыга? Шлюху просишь! Держи карман шире... Насыплет она тебе чесотки – керосином не вытравишь...

Всколыхнулась девичья стыдобушка, онемели ноги у Глафиры. Барин подхватил её на крепкие руки.

Взялся тут гундосым смехом бродячий люд, затряслась разговлённым брюхом купчиха ленная.

А Глафиру вдруг обхлестнуло силою гнева. Сорвала она с высокой головы своего непрошеного благодетеля не стянутую ещё гордую шапку и махнула её через испуганную купчиху на хваткие крючья всеприемлющих рук попрошай:

– Нате вам подаяние...

И тут же чёрною птицей полетел над толпою кашемировый её платок, скоро нырнувший в глубину людской жадности. А уж кто-то тянул с Глафиры шубейку, кто-то поддёвку её, цокая

¹⁵ Никита-гусарь – 28 сентября. В этот день били домашних гусей.

толстым языком, пихал себе за пестрядинный зипун. Кому-то гребень её роговой счёсывал, сквозь рванину кармана, струпья с бегущих ног...

А Глафира уже рвала шнурки на новых ботинках...

– Ошалела, ну ошалела... – тянул её, буйную, растрёпанную, баринов ямщик в крытый возок.

А барин мотал здоровенным кулачищем перед носом растерянного попа. Поп приседал, горбатился, тряс простоволосой головой и повторял всякий раз:

– О Господи! О Господи!

Заперлась Глафира на постоялом дворе в мышастой кладовке и просидела день до вечера. Ни досада, ни грозня шумливого барина не вызвали даже Глаферыного голоса из-за двери.

К ночи барин нахлестался до слепоты и полез на крышу кладовухи добывать Глафиру волчьим путём.

Оттуда стянули его хозяин с ямщиком и одетого кой-как уторкали обещаниями и посулами.

Но ты про волка, а волк про телка...

Стоило заботникам веки сном свести, как баринов хмель на подушке остался. Прислушивается барин и шепчет себе:

– Нужда и змею из норы выводит. Тут я её за сап и ухвачу... Потом сама за телегою побежит.

За телегою, однако, Глафира не торопилась бежать. Нашла она в кладовухе старый полушубок да пимы и напрямик подалась в снеговатый ещё лес.

– Врёшь, не уйдёшь! – ударился барин следом. – Не затем птаху силкуют, чтобы волею наградить.

Почуяла Глафира погоню в глухом углу сторожкой тайги. Не помня себя, запетляла она между сосёнок.

Да не матёрый волк обловчил козу – догнала её усталъ резвая. Какая ж сила была в Глаферыюшке опосля-то болезни?

С лёту догоняльщик сшиб Глафиру в пустой сугроб. Доволок за волосы до корявого пня. Бил головою, покуда девка руками шевелить не перестала. И тут барин сам понял, что хотел напиться, да утонул...

Побег он на постоялый двор, ямщика растолкал:

– Запрягай!

Ой, не спеши торопиться – торопень воротится... Ещё ямщик и понужнуть лошадей как следует не успел, а у колеса ступица лопнула.

Пришлось ворочаться да будить хозяина. Сменили колесо, опять по лошадям хлестанули. И дёрнули скоком, да поехали боком: за выгоном, над узким распадком слепого ручья, мосток обвалился. Покуда низиной объезжали, барскую шубу где-то вытряхнули.

Ведь вот, потерявши голову, по бороде не плачут, а барин шубу пожалел. Погнал ямщика своего потерю отыскивать. А ямщик будто за смертью ушёл: нет и нет его.

Барину одному и делать больше нечего, как к лесу прислушиваться.

Молчит лес, молчит старый колдун. Тяжела его дума лохматая – не продохнуть... Только расшибленная молнией древняя сосна скрипит над дорогою... скрипит...

Затрусился барин.

Ну ить сколько зубами ни цокай, страха не пережуёшь, сколько ни трясись, не вытрянешь его из себя.

Оседлала жуть баринову волю: махонькой козявочкой захотелось ему в щёлочку спрятаться. Он и полез под возок. Только, пыхтя, устроился между колёсами, только угнезвился, как лошади, не чуя над собой хозяйской руки, пошли.

Отчаялся барин: не хватало ещё лошадей упустить! Шустро на ноги вскочил, следом за возком кинулся. Не получается у барина поимка – всё вполонину ладони до возка не дотянется. Может, и догнал бы ездок возок, не попадись ему на дороге спотычка. Зацепился барин ногою за что-то и повалился кулём.

Тут он и про Бога вспомнил!

А то, обо что споткнулся барин, зашевелилось вдруг на дороге, вздохнуло, и поднялась над барином Глафира Маркова. Сама поднялась и барину руку протянула. Вставай, дескать, чего лыву-то весеннюю промокать? Идём со мною!

Сам не знал, зачем поскакал барин за Глафиною через пни да валежины прямо в самую таёжную глухомань. Скачет барин, переваливается, а сам всё извиняется:

– Надо бы знать мне, до чего же ты, девка, живуча. Не спешил бы я тебя в лесу ночью искать. А то и ямщика по колдобинам загонял, и сам от усталости на дорогу свалился...

Суетится перед Глафиною барин, а себе думает:

«Выведи, выведи меня на людей, там я с тобою другим языком поговорю!»

Эко ли!

Не зарься, ездок, на скок, покуда не углядишь, на ком сидишь...

Вывела барина Глафира... Ох, как она его вывела!.. Привела она барина к тому самому месту, где пень корявый стоит, тот пень, об который головою Глафира давеча была до смерти зашиблена. Тут она светлою в темноте чертою очертила место вокруг пенька да и заставляет барина:

– Копай!

– Зачем? – спрашивает барин.

– Как зачем? Убил ты меня? Убил! Теперь надобно меня похоронить. А я покудова на пенёчке подожду. Тяжко мне на ногах-то стоять – земля тянет.

У барина дух занялся. А попробуй отказаться... Покрутился барин – ни лопаты, ни заступа нету. Чем копать-то? Хочется ему Глафиру об том спросить, а она, сидючи на пенёке, уж и задремала. Легонько тронул её барин за плечо, она и повалилась на землю – руки раскинула и окостенела. Точно так легла, как он её, уходя, бросил, будто и с места не сходила.

Заорал барин в три голоса и пал рядом с Глафиною.

Тем временем ямщик вернулся к лошадям с найденною шубой: лошади чуть дальше места стоят, а самого барина нету. Подождал ямщик, подождал да и забеспокоился, кричать барина стал. Отозвалось где-то недалеко страшным криком и замолчало...

Больше не откликнулось, сколько ямщик ни звал. А ночью в тайгу ямщик испугался пойти. Утра дождался. По свету пошёл искать барина.

И прямо тут вот, версты не будет от дороги, и наткнулся ямщик на обоих мертвецов. Рядом лежат.

Ямщик – в голос... Потом – на лошадей да в деревню. Прискакал, задыхается... Собрались мужики – на верха и в тайгу... Привёл мужиков ямщик на место и онемел: всё как было – и тайга, и пень, и барин лежит... А Глафиры и следа нету... Так и не нашли Глафиру Маркову нигде.

А уж потом, много позже, сказывали бабы, что видели в тайге красивую девку, да не подошла она к ним, в лесу пропала.

Кто знает, она ли?

Федунька-самодрыг

Тайга-то, она, матушка, не без норова... Понятие нужно к ней иметь. При понятии она тебя и накормит, и напоит, и обогреет, и путь укажет. Нет понятия – на шумит, запугает. Последний разум замутит.

Не любит тайга бестолкового человека, а пуще того – привередливого. Такому она вовсе чужою стороной прикинется, тут у неё и в Петровки – зимовки...

Вот вы послушайте сюда, какое дело однораз на рубке получилось.

У хозяина вырубки к тому времени с большими властями заминка вышла. Остановили вырубку. Главный народ по хозяйствам своим до поры разошёлся, а двое парней, это Иван Маркелов да Федунька Величко, на вырубке остались сторожевать. Было велено им, от нечего делать, дрова хозяину на зиму запастись.

Ивана-то Маркелова хозяин оставил на делянке потому, как он безродный был, один. А Федуньку – по-свойски... Родней ему Федунька приходился. Так, седьмая вода на киселе... Но хоть из-под куста ягодка, а всё – малинка.

Оно, Федуньку-то, похаять грех. Вровень с другими мужиками топором гукал, рубил лес до сырой горбицы. А только выкладку имел пакостливую – шибко до девчат был прыгун. Сегодня одной голову закрутит, завтра другой... Уж больно умел он, нечистая сила, играть на девичьем сердце... А красивый был, холера! После него мужики на себя и глядеть не хотели.

Изводил девчат, тот Федунька, прямо убей! А самому хоть бы хны!

Только зубы скалит.

– Ничо, – говорит, – пушай поплачут. Через слёзы отпущение приходит. После маво причастия и попу делать нечего.

Многих девчат таким-то манером Федунька причастил.

За эти святые замашки бивали его ребята, и не единожды. Да дураку – не в дугу... Знать, и на делянке его хозяин не столько по родне оставил, сколько хотел охоронить от длинных рук.

Так нет! Не бросит сверчок свою песню, покуда не ошпарят.

Сидят как-то оба-два сторожа на вырубке, костерок охаживают, зорьку вечернюю переводят на пустопорожние разговоры: старое выбивают, новое приколачивают; одно тянут, другое корнают...

Может, и давно бы услышали в лесу девичью песню, да комарьё одолело. Покуда отмахивались, она, песня-то, слышат, вдоль вырубки поплыла.

Иван Маркелов не был вертопрахом, а и его за живое взяло: уж такой голос шёлковый стелется по лесу! Напарник же Иванов даже стойку дал.

– Кому бы это, – елозит, – в такую пору песни разводить за пять вёрст от села?

Ивану бы лучше прислушаться к той песне закатной, к тому голосу странному, к словам тем не деревенским, да он Федуньку отговаривать принялся:

– Чего прыгаешь? Мало ли тут девок по ягоды ходит?

– Какие тебе ягоды! Ягоды ему... Ты гляди, солнце-то рогом землю роет!

– Ты чо ерепенишься? – перечит прыгуну Иван. – Не к лешему же на свиданку подалась девка? Тут, окромя нас с тобой, одна зуда комарья.

– Может, эта песня до меня рвётся? – вовсе сморозил Федунька.

А Иван сдуру-то и подъялдыкни:

– Вишь вон, и то... Девка-то у костерка нашего крутится. Право, для тебя голосянку тянет.

Федунька вроде бы сел, притих, а сам всё ухо топориком держит. В лесу тоже поумолкло, чуть только звенит комарьё.

Ну и ладно. Стали они опять огонь шишкарём потчевать, разговоры настраивать... Тут и брызны по лесу девичий хохоток.

Дёрнулся Федунька, чуть пень, на котором сидел, в землю не вдолбил.

– Ну и варнак ты, Федька! – удивляется Иван. – Эко тебя шарахнуло!

А у самого, у Ивана, так на душе ломотно. Маракует себе: «Кому это, заревым делом, пригостило у вырубки нашей? Хотя накладно ли пять вёрст для молодых ног. Может, кто с разных деревень друг дружку на полдороге пришёл искать?»

Вроде бы на том и уговорил свое беспокойство Иван. А вот Федуньке недужится. Свербит его тягота, плохо ему у костра дышится.

– Пойду до ветру, – говорит, – пробежусь.

– Пёс ты задери! – озлился Иван. – Лыгай, коли шлея под хвост попала. Может, наскочишь на свово хозяина, вложит он тебе в душу затычку с ершом...

Ить побежал, шельмец! Впотымах-то скоро с лесом сравнялся. И хохоту того больше слышно не стало, и песня умолкла.

«Может, и впрямь нашлась смелая Федуньку в лесу отыскать? – думает Иван. – Теперь его до свету не жди».

Побрёл Иван в зимник, улёгся... Не спится. Что-то всё ноет и ноет, всё жмёт в груди. Лежал, лежал, вроде задремал. Нет, опять очнулся. Встал. Вернулся к костерку... И тут ему плохо.

«Вот заноза! Куда его унесло?! Хоть бы голос подал. Глянуть, что ли? Надо глянуть!» – думает Иван.

Перебрёл он через вырубку – никого! Пошёл дальше – лес сквозной; перепела вспархивают, комар зудит... Шумнул Иван:

– Федунька!

Эхо закатилось младенцем перепуганным. Плюнул: «Пропади ты пропадом!» – и поворотил сапоги.

Не туда!

Чует Иван, не туда идёт. Он опять повернулся – собачья карусель... Вот сатана! Куда ни повернёшься, нету ему хода.

«Дай, – думает Иван, – влезу на сосну, огляжусь, где это я».

Выбрал дерево повыше и кое-как подтянулся до первых сучков. А там уж быстренько поднялся до обзору: вон он, костерок! Только что не доплюнешь! «Как это я так закрутился? – думает себе Иван. – Вон и зимник... дверью скрипит... Ишь ты, забыл прихлопнуть! Щас, – думает, – слезу. На кой бы мне леший этот сумасброд сдался – искать его в темноте. Пойду спать лягу».

Стал Иван на землю сползать... Чудно! Не пуцают его ветки. Ко стволу сосновому приголубили, чище милой, и держат. Пришлось Ивану шибко ласково – хоть белугою реви. А тут ещё луну громовая туча с неба слизнула. Откуда принесло этакую оказию?! Солнце ж ноне почистому в землю скатилось. Не должно быть грозе! А она, вот она! Видно, поглядеть явилась, как Иван в колючей кудели увяз. Да молнией ка-ак щёлкнет!

«Ой, пропала моя головушка! – тянет Иван голову в плечи. – Так мне, дураку, и надо. Спал бы себе в зимнике, так нет... Пошатался медведь по сладка, да поцеловала шата рогатка».

– Пусти ты меня! – отпихивается Иван от сосны. – Чо я тебе?... Пусти!

Только то-то и оно-то... В грязь-то бы можно, да из грязи тошно. Пожух Иван, навертевшись впусую, руки опустил...

А тут слышит: низом кто-то шлёпает.

«Федунька, должно!»

Разломил Иван сухой от страха рот, чтобы помощника себе окликнуть, да сосна его как хлестанёт веткою! Весь рот Ивану забило хвоей. Покуда отплёвывался – шаги умолкли. А над головою туча будто разломилась.

«Ну всё! – думает Иван. – Щас осколком долбанёт, и поминай как звали!»

Ни до того, ни после не знал Иван в жизни такого потопа. Что творилось! Матушка-владычица! Стеною дождь стоит, а вот самого Ивана под ветками не трогает...

Внизу ж, на поляне, от сырости, должно, гнилухи заголубели. Полыхают синим огнём. С высоты поглядеть, будто кто здоровенный сундук отворил и невидимой рукой камня самоцветные пересыпает.

В самой же середине той поляны разубранной – тёмное пятно: пенёк не пенёк – человек на кукорках сидит.

«Да ведь то ж Федунька Величко! Фу ты, едрён корень! – радуется Иван. – Меня, поди-ко, ищет. Чёрта ли тогда в земле колушается? Тут я! Ну, задери ж ты дурную башку! Погляди ты на меня, ради Господа Бога!»

Думает так Иван, а рот открыть боится. Кабы опять его хвоей не забило. Глядит Иван Фёдору в макушку, что кошка в кувшин, и слёзы глотает. А Федунька чегой-то уж больно смиренно сидит, не шелохнётся. Живой ли?!

Пригляделся Иван попристальней, а Федунька опутан по рукам и ногам, чёрными кореньями повит, как муха паутиною.

Вона! Допрыгался! Нашёл своё! Ехал цугом, да поперёк дороги...

«Не одного меня тайга приголубила, – трясётся Иван. – Только меня-то за какой грех в шутники записала? Может, людям что через меня пересказать хочет?»

Вовсе Иван на своей сосне притих. Чует: не играет тайга. Лучше уж сидеть сиднем, покуда не схлынет с неё охота держать его на привязи. Не заметил Иван, как ливень потух. От гнилух тех, от камней ли самоцветных, а поплыл над поляною сизый туман. Это среди ночи-то! Поплыл и поплыл... Кругами плывёт, сужается, теснится... Поднимается над поляною кверху сторонкой. Всё круче подхватывает края, всё веселее замешивается... Вытянулся туман тот столбом выше Ивановой сосны и облился весь на поляну, прямо под ноги незнакомой девке. И откуда она взялась?

Платье на ней зелёное, всё цыплячьими пятнушками бегаёт, как тайга солнечными бликами ясным утром. Косы её неплетёные усыпаны спелой рябиною, жарками да кукушкиными слёзками перевиты хитро. На шее соболек белый греется; обвил ей шею и жмурится, как кошка. Девка того соболька наглаживает, а сама приговаривает:

– Сколько же в ином человеке всякой мороки гнездится? Сам в себе человек беду сеет, сам её греет, сам пожинает, а после на чертей пеняет... Ну что ж мы с тобою для него придумаем? А? Одарить его совестью? Нет... Из гнилья огня не высечь, не добыть из плесени ядрышка... Пусть хотя бы послужит крепкою памяткой, чтобы неповадно было другим куражиться над чистыми душами своею удачною природой. И про меня пускай не забывают...

Сказала так девка про Федуньку вроде, а сама на Ивана глаза подняла.

Было бы в сосне хоть махонькое дупло, втиснулся бы в него Иван. Так она поглядела!

Зажмурился парень – ждёт...

Тут сосна-то как дёрнется.

Свалился Иван на мшистое место и лежит. Ну, сколь ни лежи – время идёт... Открыл он глаза – никого кругом нет. А сам он, Иван Маркелов, лежит в зимнике на нарах, весь как есть сухой, вроде подсолнуха на печи.

– Поди ж ты! – дивится Иван. – Откуда што? И дождь тебе тут! И гром! И лесовичка разумная... Что померещится человеку?...

Поднялся Иван, качая головой, пошёл за дверь, а там Федунька на вырубке сидит, костерок шишкарём кормит.

Подошёл к нему Иван со спины, не знает, с чего разговор начать.

Кыркнул: мол, тут я, Фёдор.

Дрогнул Федунька от Иванова крика и сполз со пня на землю: пена изо рта повалила; головою землю долбит, выгибается.

Иван к нему с подмогой. Ухватился за Федуньку – а тот мокрехонький весь и ажно голубым огнём светится.

По лесу же, вдоль вырубки, прокатился ещё раз девичий хохоток и далеко смолк... навсегда...

«Э-э... Да не с мово страху тебя знобит», – понял Иван.

Оттащил он Федуньку подальше от костра, чтобы ненароком в огонь не повернулся, и ушёл в зимник.

Да уж какой там сон!

До самого свету Иван прокрутился на нарах. Утром задремал всё-таки. Проснулся аж к обеду, от голоду. Федунька рядом храпит, слюни на нары пускает. Одежда на Федуньке сухая да чистая вся...

Так Иван ничего и не понял.

А только с той самой ночи привязалась к Федуньке Величко падучая: как надумает он к девке с ухлястыванием подкатить, так хвороба и прижмёт его к земле...

Красивый был Федунька! Ох, красивый! А так бобылём на всю жизнь и остался. Ни одна девка не захотела пойти замуж за такого-то...

– Зачем мне этот самодрог? Мне и добрых не перебрать...

Вот она, тайга-то, порою что делает.

А может, и зря мы на тайгу грешим?

Старик-Боровик

Счастье – оно чудо такое, которое за тебя никто не сотворит. Смолоду мы все тянемся к такому чуду. Но земной путь долог. На том пути перехватчиков ой как много! Кого жадность одолеет, кого беда осилит, кого хвороба заест, а бывает, и простая дурь голову закрутит... и ко всякой беде первым при бедком можно подставить наше глупое «авось». Спрячешься за него, и не найдёт тебя твоё счастье. Так вот кабы не «авось», куда бы лучше жилось.

К примеру, будет сказано, жила в деревне, что вверх по нашей речке этак версты на четыре отстояла... жила, значит, в той деревне Дашутка Найдёнова. Жила, как все живут, ничем особым от своих однолотов не отличалась. Разве что без матери рано осталась. Так и сиротство не ахти выделяло её, жалеть было не за что. Отец её, Федот Найдёнов, второй раз не стал жениться, а привёз в дом сестру свою, кривую Финету. Финета в девчонках ещё потеряла один глаз. С подружками в лесу играла, да и наскочила на острый сучок. От кривоты своей и осталась на всю жизнь одна.

– Мне, – говорила, – на себя один раз самой-то глянуть тошно, а человеку – всю жизнь смотри...

Когда же Финета к брату перебралась, очень радовалась – в семье жить будет. Привязалась она к Дашутке как к родной дочери, но держала её в работе и строгости.

Семья была со жменьку, а все не на серебре едали. Бедность тогда у простых людей большая была. Многих невест в сторонке держала. А и замужество тоже не приносило великого праздника.

Понимала Финета, что и к её Дашутке не князь приедет свататься, и всё же больше того боялась – не повторила бы племянница её судьбы... Вот она и приглядывала для Дашутки жениха.

– Пусть, – говорила, – хоть худая крыша, а всё не каждая капля на голову упадёт.

Дашутка же по молодости подсмеивалась над Финетиними заботами:

– Ты гляди, гляди, тетка Финета, а я посмотрю.

И отец ей потакал:

– Человеку на земле всего по одному разу отпущено: один – родиться, один – помереть, и любить тоже один раз дано. Так что не спеши загадывать, торопись думать!

Оно, конечно, и для Дашутки женихи находились, но больно долго не упрасивали: дело твое – не хочешь, как хочешь... Другие стоворчивее.

Финета все охает, а Дашутка ластится к ней:

– Молчит моё сердце, милая моя тётка. Слыхала я в людях, что сердце петь начинает, когда узнает суженого своего.

– Верно, – поддакивал Федот, – в хороводе плясать и то не с каждым хочется...

И тут пошла по деревням молва: ходит-де по дворам Христа ради Старик-Боровик – самой земле родной брат, тайге нашей хозяин заботливый. Ходит Боровик, и всё чего-то вынюхивает, всё высматривает. А сам под сумошника рядится, чтобы его, значит, от других попросаев отличить нельзя было. Как только пригреют его в каком дворе от чистого сердца, так он, уходя, в том хозяйстве прибыль оставляет.

И не то чтобы выдернуть в огороде вместо свёклы узелок с деньгами, а так: коли в доме больной человек лежит – встанет, или хлеб в тот год невиданный на полосе уродится... Не то сваты налетят со всех сторон – разом выдадут замуж ту, которой прежде и другого-то имечка не было, как «горевуха».

Финета на эти рассказы и клонула:

– Вот бы нам с тобой, Дашутка, заманить Старика-Боровика!..

Всё чаще, всё громче заповторяла Финета свои слова. Стала она хожалых людей выглядывать, к заплоту часто выходить – высматривать... Потом и зазывать принялась...

Ну и навадились у ихнего стола каждодневно сироты убогие пастись...

Федот сестру не останавливает:

– Пусть её... – смеётся. – До костей поди-ко не обглодают...

Напоит Финета, накормит бесфамильника дорожного, спать укладет... Утром не успеет сумошник узел свой собрать, а уж Финета все окна проглядела, сватов ожидаючи.

Ну погарцует у окон, посуется и плюнет – осердится. А потом опять своё, опять залучает всяких захребетников. Дашутка стала укорять тетку:

– Смеются надо мною подружки... Что же ты делаешь, тётка Финета?

И Финета уже понимает свою пустую затею. Уж и грозит с досады:

– Не пущу никого! Хоть помирай под забором, не пущу!

И почти той же ночью постучись кто-то в калитку. Ночь расходилась ветреная, мокрая... А стукоток уж такой несмелый, будто и не надеется тот, кто стучит, что его в тепло пустят.

Если бы Финета не прислушивалась ко всяким шорохам, не услышать бы ей того стука. Встрепенулась, Дашутку посылает:

– Беги скорей, отвори! Может, его судьба послала?...

– Ты ж зарок дала, – сидит Дашутка. – Уж лучше пусть человек в чужом дворе попытает добра. Может, там его за простое благословение примут.

– А я говорю, ступай! – осердилась Финета. – Неспроста у меня колотится внутри: он это!

– Эх, тётка Финета, тётка Финета, какая ты хорошая раньше была! – упрекнула Дашутка.

Но послушаться – послушалась. Пошла отворять калитку.

На дворе дождь хлещет, берёза обтрёпанная жмётся к самой стене дома, а ворота ветром распахнуло... Старик же убогий в калитку скребётся – слепой!

У Дашутки сердце занялось. Взяла она старика за руку, ведёт:

– Пойдём со мною, дедушка. Тепло у нас, сухо...

А Финета от нетерпения на крыльцо выскочила, стоит, присматривается. В темноте такой разве чего сразу разглядишь?

– Э, нет! – вдруг замотала руками Финета. – Этого не веди! Не веди, говорю, этого! В который раз он завертает к нашей калитке. Ишь ты! Узнал дорогу. На той неделе я кого два раза кормила? Хватит, батюшка мой, хватит!

Дашутка в слёзы:

– Кого ты гонишь, тётка Финета?

Стали втолковывать одна другой свои понятия. А старик тем временем выбрел на улицу, напрямки сырою луговиною захлюпал куда-то: добрую дорогу сослепу да с горя потерял.

Дашутка хватилась, в сенях отцову шубу да сапоги натянула, старика уж у самого леса догнала.

– Ты, дедушка, шибко на тётку мою не серчай, – плачет... – Она ж из-за меня такую сделалась. Слышал, поди-ко, про Старика-Боровика?

– Слышал, – гладит её старик по голове, – а то как же...

– Так тётка моя Финета уж больно в того Боровика поверила, обнадеялась... Раньше-то, бывало, она и без того каждому подаст, а теперь всё Боровика ждёт. А идут другие да другие... Она и досадует, как малец на палку, котора не стреляет. Она бы хотела, чтобы с его легкой руки ко мне добрые сваты приехали, а то приданое такое бы дал, на которое женихи кидаются... Не может никак понять: зачем бы тому Боровику нищенствовать, если бы у него у самого чего за душою было?

– Так ить может статья, что он лохмотьями только прикрывается?

– И ты, дедушка, про то же, – улыбнулась Дашутка. – Скажи лучше, куда ночью пойдешь-то? Может, к нам воротимся. Поди-ко, отошла теперь тётка моя, сидит, кается...

– Да уж нет, дитятко, – отвечает старик. – Я уж лучше до Белояровки пойду. Там у меня родня никакая с краешку деревни живёт. Ты меня, внучка, только на дорогу выведи.

– Какая ж такая Белояровка? – спрашивает Дашутка. – Не слыхала я об такой деревне.

– Успеешь ещё услышать, – загадкой ответил слепой. – Твое время впереди.

– Такая ночь поганая, – жалеет старого Дашутка. – Куда ты? День настанет – тогда пой-дёшь.

– У меня, внученька, и ясным днём в глазах чёрная звезда полыхает. Я уж и помнить забыл, какой он, день-то, бывает.

– Ой, дедушка. Не то я говорю, – кается Дашутка. – Провожу я тебя, сколько надо.

– Пойдём, – соглашается слепой. – Проводи, когда тётка не заругает.

Вот и пошли они хлипкою дорогой повдоль тёмного лесу. Разговаривают идут, посмеиваются, где смешно, вздыхают, где тошно... Дашутка про своё говорит, старик – про Дашуткино... И про дождь забыли, и про ветер... Да и кончился тот дождь, улеглась погода... Дорогу подморозило. Луна выплыла. Светло Дашутке.

Слепой и говорит:

– Шибко ты, внучка, ноги погоняешь. Запалила меня вконец... Дай-ко передохну. Тут брёвнышко должно у дороги лежать. Сиживал я тут...

Дашутка и правда бревно увидела.

– Какой ты внимательный! – удивляется.

– Нельзя мне, внученька, по-другому... Я памятью вижу...

Сели они на бревно. Сидят, толкуют. А старик всё чего-то ногой пришаривает у бревна.

– Погляди-тко, внучка, что это за камешек у меня под ногою катается.

Подняла Дашутка старикову находку, подивилась:

– Тяжёлый-то какой! Поди-кось, фунтов с пять будет.

– Отри камешек хорошенько, – советует слепой. – Сними грязь-то.

Отерла Дашутка находку об отцов полушубок...

– Дедушка, – шепчет, – кабы ты видел, что ты нашёл. Однако золото! Помереть мне на месте, золото!

– Ну ты, – хитрит старик. – Откуда? Золото! Кто ж нам с тобою его на дороге поклал?

– Истинный Христос! – крестится Дашутка. – На-ко вот, держи. Это хорошо, что золото. По дворам скитаться тебе нужда сразу отпадёт, будешь теперь на своей печи есть калачи...

– Не-е... На печи я скоро помру. Не привык я к баловству. Возьми-ко ты себе этот камешек. Тут столько, что и тётка Финета об таком не думала, не гадала.

– Не возьму, – дернулась Дашутка. – Как же я после того жить на свете стану, слепого обобравши. Мне отец говорил, что золото – оно зоркое. Оно само видит, кому в руки даваться. Ты его нашёл, ты его и бери. Мне чужого не надо.

– От неслух! – смеётся старик. – Я ж от чистого сердца... Кабы тётка Финета его увидела, с руками бы оторвала...

– Ты мою тётку не скуп. Она не жадностью болеет, а заботой. И не суй мне своё золото. После Дашутка повинилась перед стариком:

– Вишь вот. Не успели мы его, проклятое, в руки взять, а уж, гляди, поругаемся скоро. Убери ты его подальше.

– Дело твоё, внучка. Тебе не надо и мне ни к чему... – сказал так слепой и бросил золотой камень подальше от дороги. – Лети, камень-приворот, во невестин огород.

Дашутка было кинулась в тайгу да раздумала. Назад вернулась, а слепого на дороге нету. Дашутке страшно стало: заблудится в лесу слепой, пропадёт старый!

– Ау, дедушка... Ау, миленький... Вернись.

И увидела она: идёт кто-то к ней из леса. Ей и не к уму, что уж больно прямо идёт, уж больно смел для слепого... Побежала навстречу.

А луна, а луна!..

Дашутка от испуга к дереву спиною привалилась, ноги не держат: старик-то – не старик, и не слеп, и не сед, кудри волною льются, чистый голос молодо звенит.

Дашутка слушает и не слушает: смотрит на парня во все глаза и поднимается в ней сила, какой она сроду в себе не чуяла. И не то чтобы сердце её запело, а так, будто кого загибшим считала, а он вернулся... Такая горячая радость, что, не остуди её слезами, сгорит сердце, не выдержит.

– Ты чего плачешь-то? – спрашивает парень. – Испугал я тебя. Ну что теперь поделаешь? Ты уж не сердись. В лесу-то почему так запозднилась? Пошли, я тебя к деревне выведу.

Пришла Дашутка домой и не знает, как ей о лесном человеке думать, а тут ещё Финета её донимает:

– Чо он хоть тебе говорил-то?

– Ничего такого, – таится Дашутка.

– Как ничего? Обижался поди-ко. Ах ты, Господи Боже мой! Прости ты мою душу грешную. По тебе вижу: проклинал меня старик. Как я могла прогнать слепого человека, да еще в этакую-то ночь. Будь он трижды неладный, Боровик этот! Совсем задурил мою головушку.

Дашутка видит такое Финетино раскаянье и не стала долго молчать, только про парня скрыла, а что старик сказал, камешек бросивши, про то чисто выложила.

Не надо было ей про огородную-то приговорку Финете сказывать. Лишнее оказалось.

Ночь-то она кой-как прокрутилась, а утром чуть свет побежала в огород – самое время было капусту рубить. Дашутка тоже привыкла от тётки не отставать. Прямо у первого кочана села Финета на землю:

– Тошно мнешеньки! Золото!

Дашутка видит, прячет что-то тётка в руке, прижимает к груди.

– Выброси ты его, – просит Дашутка. – Давай будем жить, как жили.

– Да в уме ли ты, бросить! Теперь нас голою рукой не ухватишь! Богатенькие мы... Все женишки наши будут... Хи-хи-хи.

Говорит Финета Бог знает что, а сама одноглазо шмыгает по сторонам: куда найденное спрятать?

Побежала в пригон, там побыла, выскочила, как ошпаренная, да в баню. Из бани – в курятник. Из курятника – опять в пригон. Сама вся белая, колотится... Дашутку увидела, остановилась, страшно поглядела, кричит:

– Уйди! Чего доглядываешь? Уйди, нечистая твоя сила!

Поняла Дашутка, какой подарочек преподнес Боровик тётке Финете. Убежала в избу, ревёт. Страшно ей за Финету, и отца, как нарочно, дома нет – в извозе Федот. А ещё тошней ревёт девка оттого, что лесного парня не может из головы выбросить.

Прошёл день впустую, ночь проползла темнее тёмного. Финета всё во дворе мытарится, всё золото прячет. А уж сама его давно куда-то засунула да вместо золота яйцо в руке держит.

Так и застал их утром Федот: одна слезами в нетопленной избе исходит, другая расплатилась, по двору бегают.

Федот только к сестре подступать, а она ему:

– Пошёл, пошёл! – кричит. – Явился вор. Много вас на моё золото...

У ограды люди стоят.

– Спятила, – судят.

Федоту и раньше приходилось бешеных-то видеть; давай он сестру вожжами вязать. Финета силой налилась, не даёт. Мужики помогли. Еле справились. В избу унесли Финету, на постель положили.

Дашутка, плача, всё как есть отцу обсказала, только про парня опять язык не повернулся помянуть.

Ну уж тут и не колко, да прытко. Тут уж и Федот запоохивал:

– Ой, непростое задумал старик! Да кто ж его знает, кто он? Может, злой шутики ради, подсунул он вам в капусту жёлтый камешек, а вы тут с ума посходили?

– Золото, – шепчет Дашутка. – Оно и страшно, что золото. Простой камень таким тяжёлым не бывает.

– Тогда надо нам так сделать. Найти самородок, распилить помельче и раздать тем же нищим. Может, тогда простит нас, грешных, твой старик. Ты, Финетушка, помнишь ли, куда самородок засунула?

Финета вроде послушалась, согласилась пойти показать. Развязал её Федот. Пошли искать. Одно место укажет Финета – нет ничего, второе... опять пусто... Долго бились...

– Ждать надо, – решил Федот. – Может, Боровик сам вернётся из лесу за своим добром.

Стали ждать. Месяц, другой проходит... Рождество на носу... Никто ничего. Никаких перемен. Финета больше не буйствует, но и в себя не приходит. Всё в землю смотрит: не то о чём-то вспоминает, не то забыть не может. Зима в самых морозах стоит, а старика и не чуется. Где уж тут про женихов говорить, простые-то люди стали обходить стороною Найдёнов дом. Боятся на свою голову беду накликасть.

– Вон он, Боровик-то, какие подарочки раздаёт...

– Тут не до жиру, быть бы живу...

Сам Федот Найдёнов, на что мужик твёрдый, и тот домой идти не хочет. С мужиками стал где придётся дотемна просиживать. Так ведь и мужикам с таким гостем не очень весело: какая ж пляска на гнилом болоте?

Финета скоро и узнавать никого не стала. Раз как-то ушла из дому и не вернулась. Побежали искать. На речке над прорубью стоит и в воду командует:

– Отдай золото! Ишь космы-то распустил, глаза вылупил. А то слепым, старый чёрт, прикинулся!

Уговорили её, увели от воды, а ночью Дашутка проснулась оттого, что Финета над нею склонилась и слепо шарит по постели руками.

Поняла Дашутка: некогда больше ждать Боровика, надо ей самой к нему на поклон идти.

– Отыщу! – решила она. – А нет... Так уж лучше замерзнуть, чем так-то маяться. – И пошла.

Дошла она до того места, где брёвнышко у дороги лежит, и свернула в лес. А время самое лютое и снега столько, что по шею, гляди, где-нибудь увязнуть можно.

Сколько смогла Дашутка, прошла по такой оказии. Потом и ноги потеряла. И сама не помнит, на чем думка её остановилась. Сковырнулась она на ходу и припала на мягкий снег, и притихла... Стоит кругом лес, не шелохнется, куржак горит на солнце, деревья потрескивают. Уж и тепло вроде Дашутке. И видит она: дорога перед нею в снегу открывается, до самой земли протаивает высокий снег. Пошла Дашутка по той дороге... пошла и пошла... Кругом зима, а у неё брусника под ногами... А деревья крутом плотные, белые стоят, как терема сказочные! А и терема... Высокие, узорчатые! Дворы чистые... И стоит Дашутка с самого краешку, у чужой деревни, осталось только в улицу войти. Мимо малец веселый бежит.

– Какая это деревня? – спрашивает Дашутка.

– Белояровка! – кричит малец.

– Вон что! – подивилась Дашутка и пошла вдоль дворов, любитесь.

Всё прямо нарисованное... Собаки и те с повизгом лают, будто соскучились. Посреди деревни церковь стоит, на взгорочке... А с ее колокольни благовест льётся. Люди нарядные к той церкви торопятся. Дашутке тоже узнать хочется, какая радость у людей в будний день?

Подошла поближе, а там народ шумит:

– Невеста идёт. Невеста!

Взяли её в круг и ведут скопом на тот взгорочек, прямо к церкви. Хочет Дашутка пояснить народу, что-де с другою её спутали. Какая ж, мол, я невеста, когда и жениха-то в лицо не видела?

Не успела Дашутка подумать – вот тебе и жених! Навстречу из церковных дверей слепой старик торопится, руки к ней тянет. Что же это! Да что же это такое?!

И поплыли перед Дашуткою и церковь, и люди, и дома... Слышит бедная, ведут ее куда-то, о чем-то спрашивают... Она кивает, вроде соглашается, а в голове ни памяти, ни мысли, ни заботы... Вот уж и кольцо на палец воздевают... Матерь Божья глядит на нее с иконостаса недобро, усмехается... А сердце так и стонет, так и рвется на кусочки... И перед нею уже не лик Богородицы – безумное лицо тётки Финеты...

Дернулась Дашутка назад – жених за руку держит. И не слепой вовсе. А стоит рядом с нею парень тот лесной, улыбается.

– Ты чего придумал? – задыхнулась Дашутка. – Какая тебе свадьба? Не для свадьбы я сюда шла. Зря ты в молодого перекинулся. Не пойду я за тебя. И колечко своё заberi.

Заплакала она от смелости, но своё долдонит:

– Чего ты натворил с моею семьёю? Уж ежели ты такой умелый да ловкий, так почему же у тебя не хватило ума понять тёткины корысти? Я ж тебе говорила: меня жалеючи, натворила она беды, меня и наказывай... А её прости, Христа ради!

Упала Дашутка лесному парню в ноги, и опять голова её пошла кругом. Качнулась она и память потеряла.

Когда же в себя пришла, уж она дома лежит. Рядом отец сидит, Финета суетится:

– Ой же, смертно напугала ты нас! Вотсе мёртвой была, когда тебя чужой человек из лесу принес...

Федот себе с разговором лезет:

– Гляди-тко, доченька, со страху-то и мы с Финетою поумнели. Ну давай, поправляйся теперь.

А весной, когда Дашутка стала выходить на молодую зелень, повстречался ей на поляне добрый молодец. Он тут, в нашей таёжной земле, с другими учеными мужиками что-то полезное для людей искал.

Они прямо в нашей церкви и повенчались потом.

А когда стал он ей колечко на палец надевать – признала Дашутка колечко: то самое, какое зимой она лесному парню вернула. Вот она где, хитрость-то!

И всё-таки дело тут без Боровика не обошлось.

Пантелей Звяга

Человек в людях словом живёт. Всё можно отнять у человека, но доброе слово людьми множится, как семя землёю. Что против него злоба да корысть, когда само время ему верный друг.

В одной деревне жил дядька Степан. Так тот Степан говорил сперва про Пантелея Звягу так:

– Свою ума нету, кожаный не пришьёшь.

Это про того Пантелея, которого урядник на высылки в деревню привёз.

Поместил он Пантелея в избу к дядьке Степану и велел «ха-ра-шо» присматривать за «неугодником».

Видать, Степан уряднику чем-то нравился, что он ему за тем Звягою доглядывать доверил. А чего там было доглядывать? Чо уж доглядывать? Деревенские подумали, что опять придётся землю долбить, как годом раньше для этапного одного. Того, сказать, сегодня привезли, а запозлезавтра уж и крест на могиле его поставили.

Когда же Пантелей весну вытянул, дед Иван, Степанов отец, ему пимы лосятиной подшил, чтобы по двору не промокали.

Скоро Пантелей и за ворота стал выбредать, а там и до речки пимами теми зашаркал... Добро, что речка на задах Степанова огорода бежала.

Станет, бывало, Пантелей над самым крутым местом берега, обхватит себя по плечам руками и ну говорить... Говорил Пантелей тихо так, с подвыванием, вроде как пел без музыки, одними словами только... Тут хоть земля лопни, не услышит.

Поначалу думали, молится человек перед смертью. Да уж какая там молитва, когда ни разу себя крестным знаменем не осенил.

Сперва ребята, потом и большие стали прислушиваться: об чём это чудной человек поёт на берегу свою долгую песню? Покуда прислушивались да в словах разбирались, приворожил Пантелей говором своим полдеревни...

Случалось, солнце сядет, сам Пантелей с берега уйдёт, а люди всё сидят на обрыве, всё на воду глядят, и плывёт по умам думка-загадка: «Кому такой человек не угодил? С кем не справился?»

Как-то, весной ещё, за обедом, Степан и говорит своей жене Настасее:

– Ты бы, мать, в летнике прибрала: Пантюху б надо туда перевести... Накашляет он нам в дому своей заразы. Ночь цельную нынче спать не давал.

– Бог с тобой, Степан! – вскинулась Настасея. – Видано ли дело – человека заживо гноить в этакой-то сырости? Да там, в летнике-то, по нонешней весне, только волков морозить. И матица там поперёк разошлась. Гляди, рухнет крыша. Захлестнёт ведь больного человека.

– Ну и захлестнёт... – упорствовал Степан. – Уряднику сообщим...

– Эх, Стёпка! – отнял дед Иван ложку ото рта. – Не нашего ты роду человек, собачья твоя душа...

– А тебе век спокойно не живётся! – ошетинился Степан на отца. – Дитё у нас малое... К нему эта зараза как пить дать пристанет. А ты всякого колоброды готов за пазуху посадить. Нашёл мне родню! Сказал – в летник! И всё тут.

– Ты орёшь-то чего? – присмотрелся к сыну дед Иван. – Знаю я, чего ты орёшь. Это совесть твоя у меня подмоги просит.

Ну Степан всё-таки настоял на своём.

Отесал дед Иван стояк, под матицу в летнике подвёл. Настасея за беляком за поскотину сходила. Обмазала стены в летнике, стёкла в оконце протёрла, по подлавкам накидала сон-травы от плесневелого духа и поклонилась Пантелею:

– Не моя вина... Прости ты нас, грешных, на неловком деле.

Хорошо умел смеяться Пантелей Звяга.

– Этак-то, – говорит, – даже лучше будет. Теперь мне бессонная ночь не страшна. Уж теперь я поработаю!

Так и сказал. И крепко потёр худыми ладонями. Но Степан скоро опять зацепил Настасею:

– У тебя что?... Лавка скобяная?... Али сама керосином торгуешь? Почему ж постоялец цельными ночами лампу не гасит? Где это я тебе должен на керосин добывать?

– Побойся Бога, Степан, – взмолилась Настасея. – Ему жить-то осталось всего с ползари, а ты для него свету пожалел.

– Свет – не обед... Пушай больше спит, целей будет.

Однако сколь ни строг был Степан, а Настасея на этот раз его послушалась; понесла она Пантелею свой зимний платок, чтобы он окно ночами-то плотнее занавешивал.

А Пантелей опять смеётся.

– Увольте, – говорит, – Настасея Макаровна. Сделайте милость. Мне, – говорит, – от лампы керосиновой сильно угарно... Я уж и сам думал: не лучше ли будет лучинок наскубать?

Ой, и плакала тогда Настасея за пригоном!

Степан вожжу в сенях со стены снял, вчетверо сложил... да у пригона остановился. Постоял у пригона-то Степан с тяжёлой головою, бросил вожжу на землю и быстро, чуть не бегом, ушёл со двора.

Урядник в своё время приехал с проверкою: как у вас тут фатерант себя держит? Чо поделывает? Не подход ещё?

В летник пошёл, к Пантелею. Оглядел всё внимательно, ощупал и головой на Степана качает. Сокрушается, значит.

– Ой, Степан, Степан! Говорил же я тебе, наказывал: смотри! А ты куда смотрел? Ты хоть понимаешь, чем твой постоялец тешится? Что у него тут понаписано? Ни черта ты, Степан, не понимаешь. Стихоблудство тут. Он против всей законной власти свои стихи ставит. Хочешь, он и про меня сейчас писанёт? Эй, Пантюха! Писани-ка против меня! Молчишь, шкура барабанная! Забирай, Степан, всю эту писанину, волокиты во двор!

Вытащили они со Степаном из летника цельную охапку тех пантелеевских стихов и посреди ограды запалили...

Настасея об эту пору из пригона с подойником в руках вышла. Покуда дошло до неё содеянное, бумаги те чёрными колечками закручиваться уже стали. Настасея как держала полный подойник, так и ливанула всё молоко в огонь. Потушила...

Урядник, глядя, кирпичный сделался. Будто огонь с бумаг на его лицо перекинулся. Пятернёю железной скрутил он Настасею за волосы, повалил тут же на гарь бумажную – и сапогами... Степана ж прямо заморозило! Стоит белее бумаги и мелко весь трясётся.

Пантелей-то как услышал в летнике Настасеин крик, откуда сила в нём взялась! Пулей вылетел во двор! Как саданёт урядника по шее и собою Настасею заступил.

Лучше никому не видеть бы тех Пантелеевых глаз... Жгут они всем душу, как вспомнят...

И ведь подумать только! Здоровый дуб отступил перед жёлтым листочком! Потушил Пантелеев огонь урядниково самодурство.

Все молча разошлись по своим углам. А когда Степан провожал урядника до ворот, то запросил его:

– Убери ты подале от греха со двора моего письмовода этого окаянного. Жандарм я, что ли, при тебе? За каким фактом ты на меня его навязал?

– Торгуешься? – остоленел урядник. – Ладно уж, так твою в дышло! Доведу до приказа... Выдадут тебе от казны...

Плюнул тогда Степан в закрытые ворота – пропади ты всё пропадом! И в первый раз за все годы обоюдной жизни увидела Настасея из окна, как Степан на крыльце сапоги вытирает.

А Пантелей с того самого дня слёг в постель и больше не поднялся. Знать, последние силы вытянуло из него тем вихревым огнём – прогорел.

И потянулись люди на Пантелеево пожарище, будто единой бедою обнажило им головы, сделало равными их заботы.

Раньше бы Степан, глядя на эти сходки, сказал бы так:

– Во! Собирается шатия! Тюха, да Матюха, да Колупай с братом. Опять языками до утра мантолить будут. Пойду шугану эту шайку-лейку.

И разогнал бы всех.

А теперь нет... Теперь пристроится на лавке у окна и молчком долго глядит в ограду. Потом откуда-то книжку с картинками принёс. Стал по ней пальцем водить. Водит да шепчет чего-то себе под нос.

Настасея ходит по избе кошкою. А дед Иван с печи всё головой крутит, всё удивляется: «Чего это со Степаном?»

Так миновало лето.

Последние дни, перед Пантелеевой смертью, Настасея уж и не трогала Степана – сама по хозяйству управлялась, как могла. Дед Иван, чем мог, помогал да всё шептался с невесткою:

– Неужто сподобился Степан? Дошло, видать, до него человеческое. Ить когда тебя дома-то не бывает, он все Пантелеевы, недогоревшие в тот раз, бумаги разбирает да складывает стопочкой. И прячет куда-то... Уносит ли куда... Я в ограде искал, нигде не наткнулся...

– Господи, прости и помилуй, – крестится Настасея.

...Стонет ветрами простоволосая осень, проливными дождями плачет изношенное небо, шуршит-шуршит у окна Настасейна самопряха... Вышуршивает самопряха потаённые думы на место сегодняшних забот. Тошно, хоть гадалку зови.

– Не могу боле... – бросает Настасея веретено. – Пойду приведу Пантелея в избу. Не ровён час, помрёт один в летнике.

– Стой-ка! погоди! – окликает её Степан у самого порога. – Сам пойду... Тут мужикова сила нужна...

Заскрипел Степан сеношной дверью, а дед Иван на печи своей чуть не заплакал:

– Матушка-владычица! И вы, светлые ангелы-хранители! Я ж думал, старый пёс, что плёвый Стёпка у меня... Я ж думал, пакостника на свет произвёл... Я ж теперь, Настасеюшка, помру улыбаясь...

И пришла в тот день смертушка, да не за дедом Иваном. А внёс на руках в жилую избу Степан мёртвого Пантелея Звягу.

Показалось домашним, что стоит в дверях один мертвец, держит у груди другого мертвеца. Будто на самом краю жизни обнялись они наконец-то и разошлись в разные стороны: одного сила смертная повела на покой, другого – дума глубокая поманила в даль неведомую...

И надо было теперь прятать верёвки да гужи...

– Чтобы черти, – плакала Настасея со страху, – не утянули за собою Степана.

– Ежели им надо, – сокрушался дед Иван, – они к людям со своею верёвкою приходят. И куда-то Степан всё пропадает?

– Как уйдёт, так и нету его по целному дню, – вторит деду Ивану Настасея. – Не может же человек один убраться в лес, да зимой, да просидеть там на пеньке с утра до ночи. Ещё, вертаясь домой, делает видимость, что и спрашивать его не надо...

– Не может, – соглашается дед Иван.

– Господи Боже мой! – вздыхает Настасея. – Приходил бы пьяный! Так не-ет...

– То-то и страшно!..

В ту зиму погода многонок снегу настругала. До ставней было не добраться поутру, вечером – не пробиться.

Вот Настасея взяла лопату и айда снег от окон отгребать. Гребла, гребла да и загляделась на снег. Лётся он с лопаты голубым бисером, горит на луне голубым огнём, звенит...

Стоит Настасея, любит на красоту земную, и слышится ей – вроде как потаённый скрип снега за углом избы: кто-то под окошко подбирается. Вот, слышно, хлестнуло по стеклу мягко, будто веткою под ветром.

Настасея тоже себе... подкралась и глянула за угол.

Эвон! Афоньки Маслакова морда светится перед самым окном. Чего бы ему в чужое окошко глаза паять? Давно ли Афонька из острога на поддавках выехал? Давно ли бедная Маслачиха, урёванная, выхаживала сынка непутного от хворобы? Смотри-ко ты! Неймётся ж туполобому!

В избе она переделалась и сказала Степану:

– Пойду к Маслачихе, упрежу наперёд, чтобы своо паразита крепче держала. Ещё, гляди, корову со двора уведёт.

– Сдалась ему твоя корова! – удержал Настасею Степан. – Сядь. Не суетись. Не овечье это дело – капканы на волков ставить. А и не видела ты Афанасия... Не видела... Вот! Афанасий тебе вовсе не вор какой, не разбойник. Ключик он, Афанасий, в чужих руках... пока... Простый раз его не в тот пробой сунули... Вот и застрял парень. Помогнуть ему надо своё найти, а ты «докладу»! Тоже мне, докладальщица нашлась... когда поймёшь, бросишь сердиться... Поддай-ка вон лучше шапку.

Так вот просто, без прощаний и заветов ушёл Степан из дому. Может быть, и ждала бы Настасея с дедом Иваном скорого его приходу, когда бы не нагрнул тем же утром в их двор урядник. Вразумил он Настасею насчёт мужа нагайкою вдоль хребта, да и деда Ивана крепеньким словом просветил:

– Ха-ха! Что думали! Улизнул от меня Степан Иванович?! Врёшь! Не улизнёшь! Не задавишься, так явишься! Ишь понаслушались тут звягинских сочинений. Грамотеи, мать вашу в дышло! Полдеревни с ума посходило! Я вам тут напишу свою поезию. Я вас тут всех в пепел сотру!

– Сотри, сотри... – хмыкает дед Иван. – Чему сгореть, то не потонет.

Орал, орал урядник, а толком-то ничего не сказал... Может, и сам ещё о главном не докумекал... Может, от Степана ему и хотелось узнать-пронюхать: об чём это мужички толкуют вечерами, там да сям собираясь? А когда не нашёл Степана на месте, тут его и озарило: не на Пантелеев ли огонёк мужички сходятся? Не сам ли Степан раздувает тот огонь?

Вот он и стал в том летнике, где Пантелей Звяга умер, каждую ночь засиживаться.

Снег от ставней Настасею отгребать не велел, чтобы Степану в окно не стукнуть, а сразу на крыльцо идти. Крыльцо-то как раз спротив летникова окна стояло. А народу днём говорил, будто сам он Степана в уезд за большим делом послал, а вот теперь назад дожидается.

Некоторые парни смеялись:

– Дождайся, дождайся. Дождёшься ты на свой зад...

Дурак, Господи прости! Будто люди не знают, об чём волки плачут. Будто на правду можно защёлку поставить.

Сиди себе, сатана тебя задери! Хоть до страшного суда...

С неделю полуношничал урядник.

Вся деревня устала от его глаз, а ему хоть бы хны. Настасея с дедом Иваном прямо зама-ялись: ни выйти им ночью, ни дверью стукнуть, ни света зажечь... Турецкая осада, да и только!

Долго ли урядник ещё-то бы в том летнике казёнными штанами лавки протирал, леший его знает. А только одною, самой морозной ночью мерещится сторожевому тому, будто тень по двору прошмыгнула. Урядник мигом огонь в лампе увернул и весь в окно влип. Видит: играет

по двору студёный ветер. То воронкою совьётся, то рассыплется, то по ограде волнами позёмку погонит... И вот кажется уряднику, что кто-то белый ползёт к избе. Вроде как сугроб ожил и направляется до крыльца.

– Ах, ты ж, каналья! – ухватился за усы сторожной. – Ну, я ж тебя полюблю за хитрость!

Выскочил урядник за двери, к тому месту подбежал, где ему живой снег почудился, а там всё как должно быть.

– Фу ты, голова садовая! – ругает себя урядник. – Переглядел малость. Блазнится уже...

Вернулся караульщик на прежнее место, а огонь в лампе совсем погас. Темно в летнике, хоть за скобку держись. От двери шагнул урядник к столу, где лампа должна быть, – под ногу что-то попало. Согнулся пощупать, а оно вроде кошки и поползло, поползло в сторону... и заплакало ребёнком. Урядник – к лампе... Хвать, хвать по столу – нету лампы. А потом в углу, куда лохматое поползло, засмеялось хохотом... Урядник – к двери! Заперто... Нету выхода. Он тогда по раме оконной кулаком... Высадил и полез на улицу. А с улицы ловят его худые, длинные руки. Тянутся прямо ниоткуда...

Выпал урядник сырым мешком из окна на снег и ноги врозь. Еле-еле живой дух в нём теплится. Сидел, сидел – в себя приходиться стал от морозу. И чует, будто кто-то рядом с ним дышит. Скосил урядник глаза в сторону и застонал... Морда синяя, борода – козою, бельма – поперёк рожи... Не приведи господи, кто рядом сидит! Повалился урядник сатане тому в ноги и давай поганому лытки слюнявить... Тот и сунул ему в зубы копытом. Уймись, мол, недоедок! Вспомни об себе маленько! Поцелуйщик немного от боли очухался, а сатана и гундосит:

– Приставлен ты людей сторожить? Сторожи! Но покуда ты будешь псом, велено мне быть твоим хозяином. А теперь – пошёл вон!

Подхватился караульный и ходу по деревне. Шпарит урядник по улице, ажно вихорёк сзади снег подхватывает. Пойди поймай...

Не то чтобы ловить, а в избу его тою ночью никто не пустил. Как стоворились люди. Вот какая деревня оказалась.

Так и пришлось уряднику морозною ночью до другой деревни скакать.

После того случая ушёл урядник со службы. А потом врал, что, мол, в летнике-то его сам Пантелей Звяга напугал.

Но кто бы ему поверил, чтобы такой человек стал с нечистой силой связываться? Кто-то с ним, с урядником-то, другой, у-умный, поиграл.

Недолин дом

На миру как на яру: кругом тебя люди, и ты человек! А ежели ты человек добрый, так от тебя облегчения ждут. Когда же к твоей доброте ещё и ума больше других дано – так с тебя втрое спросится. Так что быть хорошим человеком – тяжёлая работа, долгий путь. И держится на земле хороший человек одной лишь надеждой, что кто-то переймёт его широкую душу.

С такой вот надеждой и ходил по земле таёжной, по краям сибирским славный мастер Иван Недоля. Что умел Иван в своей жизни, так это дома ставить. И ставил он их не топором да пилою, а сердцем да головою!

Подряжался он в деревнях к надёжным хозяевам, артель из бойких мужичков сбивал, писался грамотный договор, и, после всей этой затравки, возводил Иван с мужиками творение такое, что дальних деревень люди подбегали порадоваться на работу мастера Недоли.

Мужички, что сподоблялись быть пригодными Иванову таланту, до конца века этим гордились. Нарасхват богатые хозяева тянули Недолю за стол договор писать. Но поскольку и метлу не в каждый угол можно поставить, так Иван сперва место для постройки дома выбирал, а уж потом к нему подыскивал хозяина.

Что ни дом у Недоли получался, то новая радость для людей. И сердце каждого хозяина наполнилось удовольствием, что не какой-то заморский умник утёр нос лапотнику подтележному, а лохматый Иван заставил цокать языком да трясти бараньими кудельками иноземных умельцев.

Сладивши работу, брал Иван с хозяина полной мерой – ни копейки на оговоры не уступал, делился с мужиками артельными честь честью, кому сколько положено, себе откладывал по уговору. Артелка расходилась довольная, а Недоля собирал со всех мазаных дворов ребятшек и вёл их целою оравой в товарную лавку.

Все купцы в округе знали такую Иванову слабость. К его приходу уж и на прилавки сластей понасыпывали, и по стенам добра понавешивали. Ребяшня всякий раз пугалась такого избытка, за дверь пятилась. Да купцы посылали приказчиков загонять пуганых обратно.

Вот и начинались в лавке смех да веселье, прикидки да примерки. Нашумятся вволю, навывираются, налюбуются собою ребята, напоследок Недоля их леденцами одарит, по новым карманам пряников насыёт и отпустит к матерям. Потом поклонится деревне у поскотины и дальше идёт по земле, приглаживать своим трудом нечёсаную бедняцкую жизнь.

Придёт, бывало, тот Недоля в какую деревню – вроде всем именины принесёт. Вроде после горячей бани поставит кружку ядрёного кваса.

Не то чтобы сразу полегчала у людей жизнь. Нет! Просто податливей становилась та лямка, которую приходилось тянуть им до гробовой доски.

И всегда-то был Иван среди народа, и повсюду ходил Иван один. А ведь всякому человеку милее жизнь тогда, когда он вокруг себя нажитое видит: корова, скажем, во дворе, лошадёнка стоит, телега, в избе глазастые ребяташки на широкой печи – это понятно! А когда нету в доме никакой беды, так и повеселиться можно. У Ивана же, как говорится, придишь проснуться – надо бежать людей звать, чтобы разбудили...

Вроде бы не от своей матери человек родился, вроде живёт от полной отдачи жизнью весенней земли. Оттого-то люди и звали Ивана Недолей.

И вот случись Недоле завернуть в бойкую деревню, где стояла государева контора по закупу золота, пушнины. Тут же и орехи принимали на масло, и живицу на канифоль. А конторщиком был Кузьма Ермилов.

Он, когда из Расеи к нам в Сибирь на Тару пожаловал, широко раскатился на новом-то месте насчёт зботычнин да господской власти. Только наши люди – не портки, не опояской

держат их надо, а умом! Скоро того Кузьму приструнили. По кочетной же его задиристости ещё и наградили прозванием липким: никто не стал его кликать иначе, как Задеруйка.

Однако свинья способна и на дерьме жиреть. От казны стал Задеруйка малость приворовывать, добытчика ошельмовать не задумывался. Народ у нас долготерпный. Ему хоть по локоть руку в карман запускать – только от щекотки морщится. Уж тогда хватится, когда голым катится.

Ещё Задеруйка тем был в округе замечен, что имел при себе в крепости девку Ланку. Он её в Сибирь-то к нам с матерью из Расеи привёз. Мать у Ланки вскорости померла чахоткою, а девка осталась в Задеруйкином доме стряпкою да ключницей. Да и всюду была она горазда: и в поле, и в мяле, и в лес по дрова. А когда Задеруйка с приказчиками из дома по закупам уезжали, так Ланка за них и таёжную добычу принимала. Такого случая добытчики только и ждали, поскольку не умела девка морочить людям головы.

Задеруйка возвернётся домой, шумит на Ланку:

– Опять ты мне тут, Ланида, наконторила! – Но бить не бил: заступников у неё в деревне много развелось. Могли бы Задеруйке и «спасибочко» сказать в тёмном месте.

Заступников-то много, а женихов нет. Задеруйка таковой заслон вокруг Ланки поставил:

– Кто надумает Ланку в жёны взять, тот пойдёт ко мне в крепость.

Если бы для себя одного, наверняка отыскалась бы отчаянная голова. В рай-то можно и послушником. Но как детей своих в крепости видеть?

Ланка и сама понимала, что краше в поле воробушком, чем в клетке соловушкой. Потому и не привечала никого, и не заманивала. Так и жила на земле – всем нужная, да никому не в пору.

Вот тогда-то Иванова дорога и заверни в бойкую ту деревню.

Дело к ночи, а в конторе свет горит. «Дай, – думает Иван, – загляну на огонёк. Обспрошусь». Только ступил на крыльцо, дверь перед ним и раздалась на всю широту. И сошлись лицом к лицу на пороге государевой конторы вольный мастер Иван да крепостная девка Ланка.

– Ой, Господи! – от внезапности молвила она, видя перед собою парня статного, синеглазого. И, отступая, повторила: – Господи!

Озаривши её испуг долгой улыбкою, сказал Иван, как поздоровался:

– Вот ты какая – луговая ромашка! Не о твоей ли крепостной беде люди говорят?

Задеруйка рядом был. Ездивши повсюду, он уж встречал мастера Ивана. Оттого-то разом и благословил в уме ту дорогу, что привела Недолю на порог его конторы.

– Будь здрав, Иван Палыч! – вклинился он, как гудок, в песню. – Надолго ли к нам пожаловали?

– Моим временем дело командует, – ответил Иван, проходя в контору да всё оглядываясь на дверь, за которую упорхнула Ланка. – Куда моё дело повернётся, туда и я смотрю.

– Понятненько, – потёр ладошки Задеруйка. – Поспособствуем...

Всю ту ноченьку не спалось Кузьме Данилычу – бегал из угла в угол спаленки своей, прикидывал, как бы ловчее охомутать экоего прибыльного работника.

«Ничо, ничо, – думал он. – Уж коли наскочил мотылёк на уголёк, так не скоро теперь крылышки-то отстрит. А мы тем временем путы вязать будем...»

В отличку от Задеруйки, что нередко бдел в бессонной жадности своей, Ивану не спалось впервые. Лежал он на сеновале, жевал соломинку да с ясным месяцем советовался, как ему, Ивану, порушить Ланкину крепость. Мастерством ли, хитростью, а может, и деньгами?... Так или иначе, а парень даже мыслить не пробовал, чтобы Ланку у Задеруйки оставить.

Думал Иван, думал и Задеруйка. Надумавшись вдосталь, сошлись и заговорили:

– Я те, Кузьма Данилыч, со всею душою строю дом, без единой для себя копейки, – сказал Иван, – а ты мне отдаёшь Ланку.

– Можно, – кивает Задеруйка, – всё можно. Да на всё есть своя цена, особенно когда денег не хватает. Мы ж в цене будем сходиться так: на тобою построенный дом я нахожу покупателя и честно при тебе торгуюсь. Ежели покупатель даст за твой дом меньше тыщи рублей, тогда и дом, и Ланка достаются мне. А раскошелится да выложит деньги чистоганом – забирай Ланку и ступай на все четыре стороны. Понял?

Иван только крикнул.

Выбрал он место по своему усмотрению, за берёзовой рощицей, на яру, у тихой речной заводи, и принялся за работу.

Пора идёт – дом поднимается. Парни деревенские, временем, подбегают к Ивану в тяжёлой работе подмогнуть.

Ничо, Задеруйка этому не противится, а всё думает, всё маракует, где бы ему покупателя столь хитрого отыскать, чтобы сумел прикопаться к Недолиной работе.

А Ланка ходит – жалко смотреть, да и мастеру Ивану, поди-ка, не легче. Только держится бойчее. А станет доску стругать, в разводах струганины то окат девичьего лица для него проявится, то в стружке оживёт завиток Ланкиных волос.

На деревянные кружева брал Иван рисунок опять же с Ланкиной красоты и, глядячи на работу, радовался. А Задеруйка, подмечая Ивановы радости, хихикал в кулачишко:

– Совсем спятил Иван! Только бы мне покупателя надёжного отыскать. А Недоля без Ланки что гриб без дождя – на корню засохнет. Останется при мне Ланка, останется и мастер. А дом неплохой получается...

Как-то была конторщику забота ехать в тайгу по закупам. Когда же он вернулся, то прямоком понужнул коней до Ивановой рощицы. Между деревьями колесить не стал – отпустил коней с приказчиком. Сам же трусцою побежал к новому дому. Вытрусивши к речной заводи, оторопел. Жарким морозом его продёрнуло! Стоит на яру Недолин дом, как редкий ларец на царской ладони.

Подумалось тут Кузьме Данилычу, что не его умением хомутать мастера Недолю, не его руками плести невод для этакой золотой рыбки!

А тут ещё Ланка, не видя за берёзами своего барина, прибежала Ивана проведать. И такая ли в ней радость, такое веселье струится, будто всё дело уже решено и не об чем больше тужить. Но всякий случай ждёт, когда его позовут.

Покуда Задеруйка на дом глядел – одно думал, отвернулся – отмахнулся, попёрся искать-добывать хитрого покупателя.

И нашёл... грех монашку прямо на исповеди.

Еремей Подкатун, которого Задеруйка решился сманить в покупщики, с малых годов жуликоватым был. Люди про таких говорят, что они у чёрта в горсти рождаются. А ведь пеленал-то Еремея тот чёрт в ремки и грел-то его в навозе. А нынче?! Даже урядник Тараканов говорит об Еремее, заикаясь. А уездный прокурор кивает всякий раз в сторону Подкатуна:

– Вороний глаз! Этот пройдоха дерьма наклюётся, потужится и золотой снесёт.

Подкатуном Еремея не поп крестил: шибко был он круглый да короткий, чтобы по-другому-то его называть...

На торги Недолина дома Подкатун явился вместе с прокурором да с людьми верными, коренастыми.

– Ничо не скажешь, – катаясь вокруг Недолина дома, ворковал Еремей. – Этакого-то умения работать, ежели ты человек не того корню, и у Бога не вымолишь, и у чёрта не выпоришь. Видится мне скрозь все эти рюшки-завитушки мастер первой руки!

«От змей! – скулит про себя Задеруйка. – От гад! Купит ведь дом. Ах ты, господи! Надо было бы мне, дураку, полторы тыщи положить. Э-э! Уж и Недоля с Ланкою переглядываются... Нечистая твоя сила!»

Тем временем Еремей Подкатун к Ивану повернулся и говорит:

– Прежде того, как сойтись нам всем в немалой цене, ответь мне, мил человек, на такой вопрос: ты же, как мне известно, обещался Кузьме Данилычу поставить дом с душою?

– Ну, – кивнул Иван и растерялся, видя, как прокурор заглядывает ему в рот.

– Так-так! – нажал голосом Подкатун. – Покажи-ка ты мне эту самую обещанную душу. Где она у тебя тут разместилась?

– Да он чо? – шепнула Ивану Ланка, и Задеруйка пхнул радостным локотком прокурора и зашептал, хихикая:

– Это Подкатун! Узнаю! Надо ж так суметь ловко скрозь камень проползти!

– Ну так как? – припёр Подкатун мастера. – Не можешь, стал быть, показать? Об чём нам тогда с тобою и говорить? Видать, не получится у тебя с Кузьмою Данилычем спор...

И Подкатун разведённой в безысходности рукою как бы невзначай хлопнул прокурора по животу. Будто китайский божок, закивал тот лысой головою.

– Однако, – повернулся Еремей к Задеруйке, – уважая глубоко работу настоящую, за красоту такую не пожалел бы я и две тыщи положить. Так что, хорошо тебе от того или плохо получится, но денежки за дом я приготовил сполна.

Покуда у Задеруйки отваливалась на подбородок губа, Еремей успел прибавить:

– Выходит, что и ты, Кузьма Данилыч, своей выгоды не поимел. Никто из вас спору не взял. Но за дом денежки-то надобно кому-то платить? – обратился он за согласием к прокурору. – Мы думаем: будет верно и по закону так, что ежели одна половина тыщи достанется мастеру, а ещё половина – Кузьме Данилычу. Дом же переходит ко мне полностью. А по причине отсутствия в нём обещанной мастером живой души, забираю я к себе в придачу и крепостную девку Ланку!

Закивал, закивал безо всякого подтыку гладенькой головёнкой уездный прокурор.

Ланиду на месте будто литовкою срезали. Не могла уж она услыхать, как рванулся к Еремею Подкатуноу мастер Иван, да перехватили его под руки те, которые коренастые, да по велению прокурора заперли до утра в Задеруйкиной банёшке.

– Лучше будет сразу его в каталажку отправить, – настаивал Задеруйка.

– Да кому тут нужда чужака вызволять! – посмеялся Подкатун над страхами Кузьмы Данилыча. – За него же передо мною отвечать придётся. Мне всё одно утром надобно смахать в уезд – купчую составить, так что Ивана я сам передам кому следует.

Но Еремеевой затее не дала сбыться Ланкина горячка. Уложенная Подкатуном в верхней горенке нового дома, девка металась в жару, не видя никого, всё звала к себе Ивана. Когда же привозной лекарь посоветовал Ивана всё-таки показать, то Задеруйкина баня встретила коренастых молодцев только сырою пустотой.

Пошли по деревне искать, спрашивать... На все вопросы люди отвечали в голос:

– Надо же! Вот чудо! Пропал человек! А какой хороший мастер-то был!

Но чудеса на этом не кончились, поскольку с Еремеем такая странность вскоре произошла, что и разгадать её нельзя.

Безъязыкой от беды Ланке Еремей Подкатун обещался:

– Как споднимешься, красота, от болезни своей глупой да поймёшь, каково к тебе моё добро, – уедем соцелева и повенчаемся святым рядом. А покуда – грешен! От пустого придурья твоего велю оконца в горенке зарешетить, и дверь полую оставлять я тоже не собираюсь. Догляд же за тобою будет вести моя кухарка.

Ладно.

Эта забота была у Еремея, да ещё Кузьма Данилыч зудил каждый божий день:

– Я говорил: надо было Ивана сразу в уезд отправлять. А теперь вон говорят, что видели мастера близко от деревни, и не одного! Увозил бы ты девку подальше куда – хватит у Ивана ума дом подпалить.

– Не городи околёсицу, – отмахивался Подкатун от советальщика. – Ланку трогать лекарем не велено. Да и что ж, мне от Ивана бегать прикажешь? Сколько бегать – год, два? Али всю жизнь его бояться? Ничо! Не трясись. Мои соколики и не таких лавливали! А что насчёт подпалу, так, покуда Ланка в доме, Иван прибежит голыми пятками огонь затапывать, ежели кто и умудрится подпалить.

Подкатун храбрится, а Задеруйке не до гонору – он уж спать стал дома в обнимку с ружьём. Всех своих работников сторожайкой замучил. Однако сколько можно крутиться-то по ночам? Надумал Задеруйка проситься к Подкату в ночевальщики. Солнце в землю – конторщик к Еремею.

А у того свой резон: чем чёрт не шутит! Покуда в передней Иван Недоля будет Кузьму Данилыча потрошить, можно успеть соколиков со двора покликать, ежели те посмеют заспать.

И стали Подкатун да Задеруйка всякое заденье до полуночи в карты сидеть лупиться да водку глушить.

На второй неделе Задеруйкиного ночевания расходился на дворе Иван Постный¹⁶. Так ли разбушевался, что у многих крестьян поленницы поразметало.

Задеруйка доволен бурей – хоть одну ночь от страха отдохнуть.

Вот сидят они с Еремеем, об стол картами хлопают, пьют-едят здоровья ради – кухарка не успевает подносить. А ить у неё не одни они – Ланка в горенке никак не успокоится, за нею нужен глаз да глаз. Тут ещё Еремей заругался:

– Чой-т ты сёдни растопалась – ходишь, тумба каменная?! Не казарменный двор, подика, у меня – маршировать-то?

На что кухарка дрогнула и, не ответствуя, заторопилась в Ланкину горенку. А уж когда вернулась в свою каморку, игрованы даже и не видели. Там она долго чухалась, полусонная, да всё тревожно припадала за чем-то к мокрому оконцу, испуганно крестясь на бурю. Не умаляли её страха и караульщики, поскольку с вечера ещё уторкались они по пристройкам надворным и вели там охульные разговоры между собою да ржали, что кони.

А в доме, когда кухарка спать легла, и вовсе настала невыносимая тишина. Хоть и свечи кругом горят, а всё одно темень по углам шевелится.

И вот слышат ночевальщики: под бурей стекло в оконце задребезжало. Дребезжит стёклушко, а получается, что в доме кто-то заблудился да тоненько плачет среди чужих углов.

Редкие Задеруйкины волосы ершом поднялись на темечке. Глядя на гребень Кузьмы Данилыча, и Еремей голову в плечи утопил. А ветер над крышей воет зауспокойную, колобродит за стеной буря, ажно дом шевелится. И скажи на милость, до того обоим мужикам жить захотелось, хоть собаку зови да малою блошкой полезай прятаться в её хвост.

Сидят игрованы, друг на друга хлопают глазами и молчат, притихли. В соседней горенке дверь поскрипывает. Вроде кто-то с обратной стороны подглядывает. Скрипела дверь, скрипела да, знать, потому что никто не осмелится её как следует прикрыть, она и засмеялась. По всему дому отозвался тот смех.

Задеруйка вместе со стулом под стол завалился. Увидел там Еремеевы ноги, ухватился за них, что чёрт за грешную душу. Подкатун дрыгается, а Задеруйка ноги ему не отпускает. Ничего другого не оставалось Еремею, как щёлкнуть подстолошника по ершастому гребню.

– Ты что там, сдурел? Не сходи с ума! Ланка это воет в своей горенке, а по дому разносится. Пойдём приструним её!

Пошли.

¹⁶ Иван Постный – 11 сентября. Самая слякотная пора сибирской осени.

Идут, колени поджимают: ежели кто из тёмного угла долбанёт, так удар легче придётся. А в животе у каждого со страху прямо ветряная мельница крутит. К Ланкиной двери вовсе крадучись приблизились.

Вместо того чтобы в горенку хозяином войти, Подкатун поштой-то припал к пробую ухом. Только не было никакой надобности кособениться-то ему, поскольку придержавшемся на расстоянии Задеруйке и то было слышно, что за дверью разговор идёт. Будто голубок с голубкою воркуют.

– Кто это там? – попятился Задеруйка.

Подкатун же пальцем ему погрозил: дескать – тихо ты! И, дойдя до Кузьмы Данилыча на цыпочках, шепнул ему на ухо:

– Видно, Ланка спятила – сама с собою говорит. Однако мало ли чо – сбегай в мою спальню за ружьём.

Задеруйке хоть куда, лишь бы подальше бежать – только топоток в тишине разнёсся. Влетел он в Еремееву спальню, дверью махнул – свеча погасла. Полез Задеруйка в темноте ружьё на стене шарить. Вот бы ему нащупать на крюке эту строгую игрушку, а кто-то сильный цап его сзади за руку!

Не успел Кузьма Данилыч со страху и похолодеть, как его за шиворот перехватили и повесили на один крюк с ружьём.

– Ой, здоровый! Ой, лохматый! – толковал потом конторщик. – В нашей деревне таких мужиков нет...

Странно, что Задеруйка не удавился тогда на собственном воротах.

А всё одно ему эта вешалка даром не прошла: что-то в горле у него пережалось. До самой смерти шипел он шипом, как змея подколотная. И морда осталась по всю жизнь сивою.

Значит, так: висит Задеруйка в Еремеевой спальне на высокой стеночке, а Подкатун его у Ланкиной горенки ждёт не дожждётся.

Воркование же за дверью вдруг умолкло, и его заменил какой-то странный хрип.

«Задавится девка!» – ударило в голову Подкатуна. Да как рванёт он дверь на себя, ажно замок охнул.

Влетел Подкатун в горенку, а там шаром покати – никого нету. Пусто, как в пропасти! Одни решёточки да стёклушки оконные глядят на него, да перед святою иконою тихая лампада тлеет, да девичья кровать жмётся от Еремея к стеночке.

Некуда Ланке спрятаться, разве что под кровать?

– Вылазь! – грозно распорядился Подкатун, но только ветер на дворе застонал ему в ответ.

Тогда Подкатун, кряхтя, опустился на колени. Но и головы наклонить не успел, как изогнуло ему спину непомерной тяжестью. По сапогам седока Еремей понял: не Ланка его оседлала. Устроился на нём гарцун порядочный!

Вот и говорит тот седок весёлым голосом:

– Не признал меня, Еремей Лукич? А ить как видеть хотел! Так ли хотел, что и про всякую совесть забыл. И не дрыгайся у меня! Не твоею нынче грозюю пал пускать.

– Кого я хотел видеть? – не понял Еремей.

– Как кого? Иванову душу, – ответил седок и, потрепавши крепенько Еремея за уши, стал грозиться: – Умудрился ты меня без Иванова согласия в доме оставить, не дам я тебе спокойного житья. Лучше вези меня к нему.

– Куда? – прохрипел Еремей.

– Туда, где отыщется...

Да так ли лупанул седок Еремея под бока крепкими сапогами, что тот взбрыкнул, храпнул и пустился по горницам резвым галопом. От повторного удара скакун хватил вниз по резной лесенке напрямиком в сени и там вымахнул на широкое крыльцо...

Ежели бы не кухарка, никто бы век не узнал, куда подевался Еремей Подкатун. Кухарка же, крестясь, заверяла всех подряд, что видела она в малое оконце своё, как расхлестнулась во всю ширь сенная дверь Недолина дома, и с бешеным храпом сиганул с крыльца в осеннюю бурю вороной жеребец, и поскакал повдоль улицы прямёхонько за деревню.

Кухарке не разобрать было через оконце, что за седок понужал того жеребца нещадно сверкающей в темноте плетью. Только видно было, как сыпались искры от того седока и огненным шлейфом ложились на шальной ветер.

Знать, пламенная душа была у мастера Недоли.

Ланку с того дня тоже никто больше никогда не видел.

Миливонщица

Тому, кто бывал в Верхнем Приобье, рассказывать не надо, насколько тамошние речонки порожисты да перекастисты. Не без серьёзности толковали старые люди, что когда Господь прокладывал их по тайге, так сперва ломиком понаотворачивал камней, а выбрасывать их – лопата сломалась. Пошёл он к себе новый черенок насадить, да, видно, за другими делами закрутился. По сей день ждут реки его возврата, бесятся от нетерпения в каменистом русле, всё волнами всплёскивают. А сколь ни плещи, до Бога не добрызнешь.

Этими-то реками и сплавляли, бывало, мужички по осеням спелосный кедровый орех – ядрёный, урожайный! Но самый крупный, самый сладкий доставался тому, кто добывал его в кедрачах за Чёрною скалою, прозванной Миливонщицей.

Чёрных скал в Верхнеобье до чёртовой матери. Но та, о которой чаще всего поминали старики, пела якобы в сумерках печальным девичьим голосом. Одни уверяли, что скала отпугивает от себя охотничков до сокрытых в ней миллионных богатств, другие – что томится внутри девица невиданной красоты и зовёт она голосом своим избавителя. А охотники да кедровики такую историю у ночных костров рассказывали.

Живал когда-то в этих местах Евдоким-бобыль. Человек он был столь добрый, столь затёрканный простотой, что и в примачи-то никто не хотел его взять. Уже ко Христовым годам подкатила его жизнь, а Евдоким всё в одиночку по тайге ходил, всё живицу собирал да малой охотой промышлял себе на пропитание.

Не было у Евдокима на земле ни единой души, с которой мог бы он разделить свою печаль-кручинушку. А хватило бы у Евдокима этого добра да на три жизни.

Вот как-то принёс бобыль на сданье живицу, взял у молодого тогда лавочника нужного припасу, поскидал в мешок и мимо дворов, напрямки, пошагал себе в тайгу. Только бы выйти ему из деревни – на тебе! Пряма-ка за последним двором, в коноплях, уловил Евдоким: пищит кой-то живым писком. И так ли скрёбно пищит, будто по шестку ножом водят.

Бобыль сунулся в коноплю, развёл их на стороны – эка ли! Видима была бы такая страсть, да не нашими глазами! Корчится в коноплях девчоночка молочная, ножонками сечёт.

Не мог же Евдоким схлестнуть обратно коноплю да в лес кинуться. Принял он пискуню на свои широкие ладони и увидел, что комарьё успело обкусать девчоночку – чтоб им всем носы винтом позакрутило! Стянул бобыль с себя рубаху исподнюю, скулёмал Найдёнку, как получилось, и вернулся обратно в деревню.

Сбежались на это диво бабы, ругаться принялись:

– Ты нам, Евдоким, саму ту шлюху приведи, что ребяночку под коноплю свалила! Разве ж это баба? Разве ж это мать?!

– Так ить, может быть, что девчоночку не зло подкинуло, а горе? – толкует Евдоким. – Может, померла мать-то?

Притихли бабы, поумнели. А одна и советует:

– Вернись, Евдокимушка, до лавочника, спроси Степана Матвеича, не оставит ли он девчоночку у себя. Жена-то его, хотя и толста матушка, и красива, а только уж третий год не может хозяину ребёночка выронить. Не то поле солончаковое, не то зерно солоделое... Она уж, сердешная, какого только зелья от знахарок не напринималась. А всё хужает и хужает. Последнее время вовсе слегла. Завчера Степан Матвеич сам лекаря привозил, да не допустила она к себе никого. Дайте, говорит, помереть спокойно. Отнеси-ка ты девчоночку туда. Может, взбодрится лавочница от детского тепла?

Евдоким и пошёл в лавку.

– Ещё не лучше! – встретил бобыля Степан Матвеич. – Ты чо, паря, опупел? Сколько их, сирот-то, по белу свету?... Этак можно целую артель натаскать!

– Куда ж мне её теперь девать-то? – чуть не плачет Евдоким. – Собакам же не выбросишь...

– А уж это дело хозяйское, – отвечает лавочник. – Господь тебе её на руки поклал, его и спрашивай. А я так думаю: ты в своей судьбе один, и Найдёна твоя такого же начала. Вот и возьми её к себе. Конечно! Хватишь с нею горького до слёз, но уж под старость будет тебе утеха.

– Когда бы мне бабою стать, я бы и разговору об этом не затеял бы, – отвечает Евдоким. – Или бы, на худой конец, коровёнку иметь. Как же мне кроху такую поднять безо всего? Тебе языком-то хорошо говорить – возьми. Языком-то бы можно и звёзды облизывать, кабы ноги дотянулись...

– А я те, паря, козу дам, ежели у тебя всё дело в молоке. Коза молодая, первого окоту. Ну? И мыла дам, и бумазейки...

– Антересно бы мне знать, – дивится Евдоким, – чем ты с меня за такую щедрость шкуру будешь снимать? Ножом? Али вдёр стянешь? Каким таким золотом стану я тебе платить?

– Так, окромя рук, чем ты мне ещё-то заплатишь? Опять же руками. Найдёна подрастёт, вместе и отработаетесь.

– Соглашайся, Евдоким! – подогревает бобыля лавочный приказчик Васька Чубарь. – Какая-никакая, теплиночка рядом пощечёгивать будет. Ну! Одному-то и песня долга.

– А! Была не была! – сосватался бобыль. – Давай козу!

И пошли они со Степаном Матвеичем смотреть Найдёнину кормилицу. Все козы в кошаре пуховые, все белой масти, а одна среди них аспидно-чёрная, и глаза, что у чёрта, – зелёным огнём горят. Да худа коза, да голосистая!

«Щас мне Стёпка дохлятину эту подсунет», – подумал Евдоким, увидевши Чернуху. Так оно и получилось.

– Ах ты ж, блоха собачья! – даже обругался бобыль на лавочника. – Разве ж ты христианин? Тебе не живого дитёнка захотелось пожалеть – от козы с выгодой избавиться. Ты ещё в путёвого хозяина-то не вырос, каково хитришь! Одним махом по двум ряхам целишь. Ещё и отработывай тебе за такого дьявола пархатого. Да ведь она у тебя, поди-ка, заместо молока помоями доится?

– Не бери, – отвечает лавочник. – Корми девку редькой.

Покуда они так толковали, коза изловчилась да ка-ак шпаранет хозяина рогом ниже спины, и заблекала, и хвостом затрясла. Степан Матвеич от боли ажно подпрыгнул да башкою об куриный насест! Все куры на него...

А коза блеет, будто хохочет, и у Евдокима кишки со смеху свело. Лавочник в досаде орёт:

– Бери сам! Али боишься?

– Не уди меня, хозяин, на червяка, – смеётся бобыль, – я те не карась. А вот коза мне твоя теперь понравилась: ежели молока не даст, заместо собаки держать можно.

И потянулся Евдоким широкой ладонью ко Чернухе. Наступает потихоньку да приговаривает:

– Матушка-кормилица, помилосердствуй, рогатая! Помрёт моя Найдёнушка без тебя.

– Ме-ке-ке, – отвечает коза и в тёплую ладонь бобыля суётся губами. Суётся да всё поблекивает, будто разговаривает.

– Мать честная! – удивляется Степан Матвеич. – Умеешь! Эдак ты медведку подоишь, не то козу!

И деревня потом долго удивлялась:

– Вот лавочникова коза отмочила! Своих близко никого не подпускала, а за чужим мужиком потянулась, как на короткой верёвке.

Как ушёл в тот раз Евдоким в ночную тайгу, так и ушёл. И год его ждали, и другой гадали, и пятый на дорогу оборачивались...

Прошло и десять лет, и больше, а по-над таёжным прилеском лишь туман осенний стелется или жаркое марево колышется, а то и лохматая зима белой солью щедро посыпает пустую дорогу. Как бедует Евдоким с чужою девчоночкой, каково достается ему бобыльное его отцовство – один Господь ведает.

Гадают люди, пошто это живишник не идёт. Может, в тайге, заодно с дитём, хворь его какая одолела? Может, подальше от страха держится: не отыскалась бы непутёвая Найдёнина мать? Кто его знает.

И забыла бы потихоньку деревня Евдокима, да Степан-лавочник ни в какую не перестаёт губами жевать, когда кто приплетётся к нему голову от нужды клонить:

– Ты вот, паря, просить-то просишь, – тычет он каждого как мордой об лавку, – а ведь не подумал, ко мне идучи, в какое положение ставишь меня. Молчишь! А ведь сам, поди-ка, знаешь, каково с вами, голодранцами-то, дело иметь доброму человеку – всё руками вам отдавай да всё ногами выхаживай. Ты вот мне скажи: как я теперь должок с Евдокима-живишника верну? Ищи ветра в поле, куриные ваши души!

– Ой, да Степан Матвеич, кормилец ты наш безотказный! – ни за что оправдывается просильщик. – Да нешто я в своей деревне приبلудный какой? Да нас тут, Аримейкиных, каждая собака наперечёт знает. Ты чо меня с Евдокимом-то равняешь?

– Ну конечно, коне-ешно... – издёвом исходит лавочник. – Ну, ты у меня агнец розовый. Все вы одним миром мазаны! И у тебя на лбу не выступает, об чём ты в себе думаешь!

– Правда твоя, Степан Матвеич, – торопится согласиться просильщик. – Что так, то так. Человек – не яйцо, его на свет не разглядишь. А каждый Калистрат на свой лад смекает...

Долго бы ещё лавочник счёт времени вёл не от Рождества Христова, а от Евдокимова ухода, кабы его самого не пощекотала беда.

Жена Степана Матвеича не померла в тот год, поднялась.

Но за все прожитые годы так и не сумела лавочника сделать детным. А Ваську Чубаря, лавочного приказчика, сумела! Может быть, венчаному своему она и дальше бы сажала тех приказёночков за стол. Кормил бы Степан Матвеич Васькиных кукушат да ещё бы гордился: какие они у него кречеты! Так ведь Чубарь от нетерпения хозяином лавки побыстрее стать такое отдуrolомил, что вся деревня ахнула! Он, вишь ли, разом хотел из одной жменьки и напиться, и умыться. Но не всяк, севший на коня, уже и Кутузов!

В день, как тому случиться, послан был Чубарь Степаном Матвеичем в дальнюю волость по торговым делам. До этого справлял такие дела сам лавочник, а тут расхворался. Не то чтобы ехать куда, а в лавку пойти не смог – жену отправил. Лавочница пошла и мальчонку с собою взяла – время скоротать.

Лавка у Степана Матвеича рублена была не в одну крышу с домом, а выходила за ограду, на улицу. Потому не только дnevать, но и ночевать приходилось в лавке.

Ну и вот. Укатил Васька Чубарь с вечера за деревню, в прилеске гдей-то меринка спрятал и потёмками вернулся обратно, думая, что в лавке ночует хозяин. Дело у него было недолгое: только дверь подпереть да огонёк выпустить, а рыжий сам знает, что ему делать.

Подпалил Чубарь лавку и поскакал себе в волость развевать кудреватым чубом по шалому ветру. Гори она, та лавка, вместе с хозяином! Скоро встречать его выйдет зазноба! Распахнёт она перед ним закрома да кладовые! А там добра столь накоплено, что Степан Матвеич, царство ему небесное, проталкивался боком в узких проходах. Эгей! Живи Василий Иванович! Царствуй!

Так, должно, думал бойкий приказчик, торопя вперёд меринка. Да уж лучше бы конь его в болото обронил...

Когда лавочницу еле живую вытащили из огня, да одну, да без мальчонки, она, в избытке боли, распахнулась душою. Все свои грехи, как гадальные карты, разложила перед Степаном Матвеичем. Оказалось, что и девчоночка, которую живишник подобрал в конопле, тоже при-

казчиков недокормыш. Одного только не могла принять на себя лавочница – Васькиного поджога.

– А ить он это подпалил! – клялась она перед смертью. – Все годы боялась я в грехе открыться, чтобы не принять от тебя ранней смерти. А получается, что человек от праведной кары по кругу бежит...

Тем же днём, когда лавочницу поклали под белую простыню, Чубаря хозяйские посланцы привезли домой и поставили перед Степаном Матвеичем.

– Запереть в амбаре, – только и сказал вдовец, остальным же людям пояснил: – Властей звать покуда не стану. Без того полно греха. Пушай посидит, покуда сорок дней покойникам не отойдёт. А там видно будет, что делать.

И приставил Степан Матвеич в досмотр ко злодею кривоногого басурманина.

Однако не суждено было минут и второй седмице, как из ближнего прилеска на просёлочную дорогу вышел крепкий мужик да с ним рядом девка стройная, да за ними вприскок поспешала чёрная коза.

Вся как есть деревня выплеснулась со дворов навстречу Евдокиму. А тот никак не мог сообразить, за какие такие победы выпала ему всенародная встреча. Оттого и насторожился бобыль, и Найдёна, видя такой переполох, маленько испугалась. Прижалась к отцову плечу и смотрит оленухой.

А народ, нежданно оказавшись перед особой девичьей красотой, забыл и про Ваську Чубаря, и про Степана-лавочника. Да и кому бы хотелось ясною весною вспоминать осеннюю похмарь? Ведь когда глаза радуются, язык не стреляет. Одна только баба, бедами, видать, настёганная, вдруг заторопила Евдокима, когда к толпе направился сам Степан Матвеич:

– Уходил бы ты отсюда, Евдокимушка...

– Я те уйду, берёста гнилая! Я те, раздёргану твою мать, уйду! – И лавочник предстал перед Евдокимом столь дородным, что бобыль усмехнулся, вспомнив его прежним стригунком.

За пройденные годы накопил торговый хозяин что тела полного, что гордости своенравной. И настолько людей отодвинуть от себя сумел, что теперь, видно, никакой длинной рукой его не достанешь. Вон как по-есаульски вошёл он в круг! Каким стояком предстал перед Евдокимом. А Найдёну так ли облил чесночной одышкой, что Евдоким отвёл дочку осторожной рукой за спину.

Неизвестно, что бы сказал на такую смелость Степан Матвеич, кабы не коза. Чёрная и теперь нацелилась на лавочника рогом и заблеяла, будто заругалась. Народ захохотал, а кто-то сказал в толпе:

– Вот шельма старая, узнала родню!

Видать, не шибко стремился Степан Матвеич, чтоб Чернуха принародно чесанула его рогом ниже спины, потому и скомандовал Евдокиму:

– Пошли, а козу пусти на траву.

До самого позднего вечера никакого дела в доме Степана Матвеича новым работникам не определилось. Хозяин всё водил их по кладовым, показывал богатства, будто они к нему торговать явились, а не в ярмо впрягаться. Да всё жаловался лавочник на своё собачье житьё да на горе свое недавнее:

– Кому оставляю?! – спрашивал он слёзно бобыля. – Ты, Евдоким, счастливей меня оказался. А мне вот никтошеньки теперь не утрёт слезы горячей, никто не услышит, как стону я стоном каждую божью ночь...

«Куда он гнёт? – ходит, спрашивает себя Евдоким. – Пошто стелется дорогим товаром? Уж не ко мне ли в зятевья просится, старый прыщ?»

Будто бы в тихой воде увидал бобыль Степановой души отражение...

Вовсе к ночи зазвал хозяин гостей в белую избу, за стол усадил возле себя, угощать принялся. Сказать бы Евдокиму чего смелого на хлебосольство его тошное, да сунься-ка языком в эку пропасть, а там паутина натянута. Ишь какой сидит Степан Матвейч! Что твой самовар – полный да спелый, будто в нём соку человеческого нацежено под самую конфорку.

Вот и говорит хозяин гостю:

– Ежели, Евдоким, оказал ты себя таким праведным, что через семнадцать годов не забыл об своём долгу, так уж, я думаю, какой бы из тебя приказчик получился?!

– Кто его знает, – отвечает бобыль, – может, оно и так. Только я, Степан Матвейч, не того гнезда выпарок. Я ить не одного тебя, я и остальных людей обманывать не могу. Разве ж такая тебе торговля нужна?

– Ладно, – соглашается лавочник. – Ну а ежели, скажем, твоей Найдёне я честь определю? Что на это ты скажешь?

– Так ить чужая честь – барыня. Она кататься любит: не в гужи сунет, так в ярмо...

– Тогда пушай сама Найдёна окажет мне честь, – гнёт свою линию Степан Матвейч.

– Ну чего ты мозолишься? – не стерпел Евдоким. – Вижу ведь: не золото у тебя внутри плавится. Всё одно поднимется на глаза.

– Эко ты несусветное городишь... – сморщился Степан Матвейч. – А ить я не как-нибудь, не на заимку возить её стану. И не так чтоб ни стуку, ни грюку – поволок, как суку... Я по-христиански! Минет моей жене сорок дней... Поп – человек свой, застольный. Он не станет ерепениться. Всё будет как у добрых людей! Не мытариться же девке век по белу свету? А тебе я за неё весь должок вычеркну, и ступай себе в тайгу вольным человеком...

Найдёна от этих слов со стеною слилась, а Евдоким со скамьи поднялся и спрашивает:

– Ты чо? Опупел, паря? Ты кому такое говоришь? Али не видишь, что перед тобою дитё сидит? Поди-ка опростайся!

– Чо-о?! – поднялся и Степан Матвейч.

– А то, – не испугался Евдоким. – Хомут ты тёртый – вот чо! Али думаешь, что я ей лютый враг, чтобы твоё сватовство благословить? Как-никак, я ей кормилец...

– Какой ты, растудыт твою душу, кормилец?! – заорал вдруг Степан Матвейч. – Может, совсем считать разучился? Сядь! Сядь, говорю! Да положи-ка на ум, сколько за полтора-то десятка лет Чернуха моя молока тебе нацедила?

– А нисколько, – опять шумнул Евдоким. – Она у тебя никогда окотною не была.

– А куда ты зенками глядел, когда брал?

– Я ить думал – душа у тебя. Искал в дерьме изюминку.

– Думал! – хмыкнул Степан Матвейч. – Ну так потом ягнилась!

– Да ни разочку за все годы...

– Ето уж ты сам виноват, – захохотал лавочник, – а моё дело знать, что от козы – козляточки, от козлят – дитяточки. И все они той самой породы, которая молоко даёт. Ломать нам с тобою головы до утра и то не подсчитать твой должок. Ты вот тут сейчас поклади чистый миллион, я ещё подумаю: взять его у тебя или обидеться. И за всю свою щедрость прощу-то я у тебя чужую девку!

– Не чужая я ему, – хотела вступиться Найдёна, но Степан Матвейч так рывкнул на неё, что та подпрыгнула на месте:

– Нишкни, пригульная! Вона где родня-то твоя кровная! – И он показал пальцем в отворённую дверь, где во дворе на приступочке амбарной сидел узкоглазый татарин.

– Эй, Рахим! – крикнул Степан Матвейч. – Веди сюда Чубаря.

Хотел было Чубарь сесть на лавку, но Рахим безо всякого труда, одним толчком в шею выстелил его плашмя у ног хозяина.

Степан Матвейч склонился над виноватым, спросил в затылок:

– А знаешь ли ты, Василь Ваныч-ч, хто тут со мною за столом, кроме Евдокима, сидит?

Приказчика на полу покорёжило.

– Сдогадываешься, выходит? – ухмыльнулся лавочник. – Правильно сдогадываешься! Она! Твоя кровиночка, на всём белом свете единственная. Ты на неё поглянь – какова удалась! Всего тебя переняла. Ты, когда в конопли-то её, как кошшонку, бросил, не подумал, поди-ка, что когда-никогда сгодится она тебе на выручку? А ить сёдни самое времечко наступило...

Чубарь не ответил, только плотнее прижался к полу.

– А помнишь, как со мною в голос уговаривал ты Евдокима принять Найдёну на свои руки? Вот и Евдоким не даст соврать. Но ведь ни она, ни Евдоким до сего часу не знают, что ты, стервец, мать её в лавке спалил.

– Собака-а!.. – взвыл Чубарь.

– Спротив тебя-то? – удивился Степан Матвеич. – Да спротив тебя я ж – пречистая дева Мария! Тебя ить только пальцем тронь – часу не проживёшь, так ты ядом пропитался. С тобою ить одним воздухом дышать боязно. Только не от твоей смерды болит у меня нонче голова – настало время, хоть без особой с моей стороны охоты, а спеть с тобою одну песню в два голоса.

Васька чуть повернулся ухом ко Степану Матвеичу.

– Как кровный отец волен ты или не волен дать благословение своей дочери? – спросил лавочник, заглядывая в сторожный глаз приказчика, и тут же сам себе ответил: – Волен! За то и я, своим чередом, волен отпустить тебя ко всем чертям.

Приказчик и вовсе повернулся и сцепился злым сомнением с хозяйскими глазами.

– Чо высматриваешь во мне? – не стерпел Степан Матвеич и отвернулся, но говорить не перестал: – А ты поверь. Я ить тебе тоже верил когда-то. Да и не жену я у тебя отнимаю. Это я должен на тебя змеем-то смотреть. Лучше встань да за стол сядь – пожри! Только об меня не задень.

Послушался приказчик, на лавку приткнулся. Но есть не стал и глаза от пола не поднял. Ему, должно, не хотелось понимать, что делается за столом. Лучше бы и не знать этого, а бежать подальше, глаза завязавши. Но куда тут побежишь? В дверях татарин стоит – от злости уши прижал, в ограде молодцы – рожи круглей лохани, за окнами быстрые тени мелькают...

– Ну чо, Васька?! Об чём думаешь сидишь? – не дотерпел до Чубарева ответа Степан Матвеич. – Снимать образа, или тебе амбар мой шибко поглянулся?

– Сымай...

Евдоким было кинулся к божнице, да быстрый татарин подсёк его умелым пинком под колени и руки завернул до самого затылка.

Ну а что бы изменилось, поломай Евдоким икону? Другую бы принесли – только и дела. Было этих святых досок тогда больше, чем столешниц.

Вздумал бобыль отбиваться, но Рахим тут же уговорил его кулаком в темя и выволоч вон со двора.

Временем позже, когда Евдоким отлежался на холодной земле, лавочник наставлял его у ворот:

– Чо ты ерепенишься? Долги всё одно платить надо. Считай, что я Найдёну у тебя за недоимку взял. И уходи отсюда подобру-поздорову. – А калитку за собой прикрывши, ещё добавил: – Задумаешь Найдёну выкупить – приноси миливон!

И захохотал, запрокинув голову.

Далеко от лавочникова двора Евдоким уйти не сумел – забился в репейную густоту под чьим-то забором да там и опустился на землю. В тихой ночи колотятся неугомонные кузнечики – кто кого перекует. Но зря стараются зелёные. Ничего-то Евдоким не слышит: чёрною кочергой согнулась в нём душа и оглохла.

Деревня угомонилась, спит. Одна только полоумная сорока расстрекоталась на чью-то погибель.

Когда Евдокима турнул кто-то под бок, не сразу понял бобыль, кому он ещё на этом свете понадобился. Но, разглядевши в темноте зелёные глаза, понял, что рядом Чернуха.

– Чего тебе, старая? – спросил Евдоким и добавил: – Не трогай ты меня. Дай помереть спокойно.

Коза, однако, не отошла. Опять лезет. Потянулся Евдоким обнять её, да никого рукою рядом не уловил. Глянул в сторону, а у забора чёрная старушонка стоит, почти с ночью слилась. Только хитрые глаза горят.

– С нами крестная сила! – перекрестился бобыль.

Старушонка же захихикала:

– Чо, батюшка, спужался? А ить только помереть хотел? Али я не так тебя поняла?

– Так, баушка, так! – опомнился Евдоким.

– То-то, что так! – вздохнула старая да спросила ещё: – Пойдёшь ли со мною, куда поведу?

– Пошто бы не пойти, – отвечает бобыль, – бояться мне нечего. Хужей того, что со мной стряслось, тебе не натворить.

– Тогда подымайся.

И повела старая Евдокима-живишника за деревню.

Руслом чистого ручья спустились они с крутояра и охладным берегом реки направились прямо к Чёрной скале. Идут ощупочкой, молчат от осторожности.

Дойдя до самой скалы, присела бабка на валунок передохнуть. Евдоким ждать остался. Но, сколько ни стоял бобыль, не видит, чтобы старая куда-то ещё торопилась. Осерчал живишник:

– Ты чо меня, старая, сюда на реку глядеть привела?!

Бабка опять засмеялась в ответ, будто коза заблеяла.

Не по себе стало Евдокиму, думает: «Язви её! Из огня да в полымя! Уходить надо!»

Повернулся уйти, видит: Чёрная скала перед ним надвое разошлась, светлая горенка внутри. Убранство в горенке простое, крестьянское: стол под льняной скатертью, лавки в полавошниках, половики тканые, у стены простенький сундучок поставлен...

– Житье ты мне тут, что ли, определяешь? – оглянулся бобыль на старую. Однако никого рядом не увидел.

Вроде бы и некуда деваться бабке! С одной стороны скала высокая, с другой – река глубокая. Постоял Живишник, погадал об новой странности и все же покорился случаю, вошел в горенку.

«Должно, хозяйка хочет, чтобы я тут её подождал», – подумал Евдоким.

Опуститься на чистые полавошники Евдоким не решился, а приткнулся было на простенький сундучишко. Но не успел он путём сесть, как хрустнуло что-то под ним и тонко зазвенело.

«Еще не лучше! – подскочил бобыль. – Поломал что-то!»

Однако зря он пугался. Видно, замок щёлкнул, потому как сама по себе отворилась сундукова крышка.

Евдоким ажно попятился – там и монисты яхонтовы, и кокошники, жемчугами усыпанные, и чеканного серебра утварь – пиры пировать. Только успевай гляди... Одним клинком в плетеном окладе можно, поди-ка, Найдёнушку вызволить. Ишь, как рассиялся самоцветами, как рассыпался чистой зернью перед Евдокимом! Только не скажет: «Бери меня, чего медлишь?»

Да ведь не своё же это добро! А Евдоким сроду чужого не брал.

«Да и принеси такую благодать Степану Матвеичу, – ко всему думает бобыль, – он же станет пытаться – где взял? А я врать не умею. Разорит лавочник Чёрную скалу и хозяйку прибьёт! Мне ли быть бедою такой доброте? Вишь вот, ушла... Хоть весь сундук забирай».

Так ничего и не взял бобыль. Только вон выйдя, поклонился пустоте да сказал:

– Спасибочки тебе, хозяйка, на добром деле. Но не приму я твоих подарков. Лучше в деревню вернусь, упаду в ноги Степану Матвейчу – пушай забирает меня в работу за одни харчи. Всё при Найдёне жить стану.

Сказал так Евдоким и повернулся уходить. Шаг-другой ступил живишник, тут за его спиной и пошатнуло землю грохотом! Даже сел бобыль и голову руками прикрыл.

Но не ночное небо над ним раскололось, то наглухо закрылась Чёрная скала. Да так ли сумела она заровнять каменную стену, что никакой видимости не осталось о сокрытой внутри горенке. Бобыль даже по стене козанком пальца постучал. И услышал – отзывается скала, да некаменным голосом. И не стена вовсе перед ним, а ворота лавочникова двора...

«Довольно с меня чудес», – подумал Евдоким, но калитку всё-таки отворил.

А на лавочниковом на дворе всю сияет погожее утро! Басурманин сидит у амбара, на сабельку дышит да подолом поддёрки протирает её кривое лезвие.

Поклонился Евдоким татарину низким поклоном: проводи, мол, до хозяина.

Ничо. Рахим огласился, только велел подождать в передней избе, а сам нырнул в сонную глубину многих горенок.

Хорошо жил Степан Матвейч, богато. Что стены, что потолок, что пол. Стоять боязно! Широкий стол посредине. А на том столе, вовсе не к месту, плохонькая тряпица лежит, веретеном скрученная...

Вот и хозяин, слышно, идёт, Рахиму говорит:

– Он чо, миливон принёс? – посмеивается.

Татарин лопочет какой-то ответ.

Важно войдя в переднюю избу, остановился Степан Матвейч перед Евдокимом, сопит. Живишник погорбился перед ним. Тогда лавочник и цоп со стола тряпицу ту скрученную. Не успел бобыль рта разинуть, как выкатился из тряпицы клинок, что не посмел Евдоким взять у Чёрной скалы! Оторопел живишник пуще Степана Матвейча, пуще татарина – чуть мимо стула не сел.

Долго молчал лавочник, выная и вкладывая клинок в изукрашенные самоцветами ножны, долго и татарин цокал толстым языком да крутил широкой головой.

Хоть и тарашился на всё это бобыль полными удивления глазами, но не сумел уловить того момента, когда Степан Матвейч переморгнулся с Рахимом. С вёртого маха татарин так ли саданул Евдокима по темечку, что стул под ним подломился и уронил бобыля на пол.

Очнулся бобыль в том самом амбаре, где ещё вчера клял свою судьбу Васька Чубарь. Это за ним не была убрана с полу вонючая солома. Собрался было Евдоким подняться да сесть, но замок дверной клацнул, и татарин Рахим вкатился на коротких ногах в дверной солнечный просвет с полной чашкой просяной каши.

Чашку Рахим поставил перед амбарным на пол, сам сел напротив и вдруг залопотал, быстро зыря на дверь узким глазом:

– Твоя, бобылка, совсем балда! Кому ножик давай? Мне ножик давай нада...

Он хлопнул себя по груди, склонился к самому Евдокимову уху, зашептал:

– Тогда твоя дочку тайгу забирай! Дурак твоя бобылка.

Евдоким только руками развёл – что татарину объяснишь? Но скуластый подсунулся куда как близко и опять заторопился:

– Степашка велела тебя ночью контрами... Чубарика контрами уже готово... Тайга давил! А моя знай нада, где твоя ножика красивый брала. Никато ножик такой не потеряй! Говори, Евдокима!

И подскочил Рахим радостно, и мигом пропал за дверью, приметивши хитрым глазом робкое согласие на лице бобыля.

Не слукавил, не соврал скуластый: стоило угомониться деревенским собакам – заговорил с пудовым замком осторожный ключ. Татарский шепоток позвал:

– Ходи на меня! Тихо ходи!

И повёл татарин Евдокима за деревню, где в молодом прилеске уже поджидала отца измученная Найдёна.

Ступая в темноте по знакомой дороге, Евдоким думал: «Куда иду? Зачем? Ведь не званы мы никем, не прошены... Захочет ли отвориться перед нами Чёрная скала?»

Но не в Чёрной скале надо было сомневаться Евдокиму и не хитрого татарина бояться. Хитрее хитрого оказался Степан Матвейч.

Не стала Чёрная скала таить от незваных гостей добра своего. А Рахим, увидевши в горенке отворенный сундук, и про бобыля забыл, и про Найдёну. Вылупил глаза, кинулся вперёд, руки распахнул и... рухнул коротким телом на чужое добро.

Не сразу Евдоким с Найдёною сообразили, что выстрел был. Когда же обернулись, то у края стены каменной стоял Степан Матвейч и ружьёцо перезаряжал. Пороховой же дымок из ствола восходил кверху седою прядкою. Сказал Евдокиму, когда дело закончил:

– Ты гляди, как люди умеют бедными прикидываться. А я-то, дурак, гадаю: за каким тебе ляхом самому ко мне батрачить приходиться, а? Ты же для разбойной хитрости казанской сиротой прикинулся! Хотел втесаться ко мне в доверие да ограбить?! И куда тебе столько добра-то? Жадность одолела? Да! Жадность – она и алтари рушит!

– Чо болтаешь-то? – хотел остановить живишник Степаново балабольство, но лавочник его и слушать не стал.

– Теперича мне, – перебил он бобыля, – и миливона с тебя мало будет. Стяни-ка Рахима с сундука на пол да крышку прикрой! Я на твоё добро дома нагляжусь...

– Вот уж не-ет, – мотнул головой бобыль. – Я этой горенке не хозяин и богатству здешнему не наследник. Сам брать ничего не стану и тебе не дам!

– Дашь! – поднял ружьё Степан Матвейч.

– Стреляй, – не моргнул Евдоким. – Всё одно я тебе в этом деле не подсобщик.

– Нет! – крикнула Найдёна, когда лавочник стал целиться, и заступила собою отца. – Сперва меня убей!

А что? И стрельнул бы Степан Матвейч безо всякого Якова. Но в каменную горенку со звонким блекотом вдруг влетела чёрная коза, поднялась перед Степаном на дыбки и тут же обернулась махонькой старушонкой.

И всё! И сел Степан Матвейч на землю, и ружьёцо из рук выпустил.

Подобрал бобыль ружьё, командует:

– Подымайся – пойдём!

И увёл лавочника в ночную тайгу. Как увёл, так и сам в тайге пропал. С того самого дня никто их обоих больше не видел. Хотя молва велась, что якобы удалось лавочнику увильнуть в чаще от живишника. Но, кинувшись в деревню за подмогою, закружился он по звериным тропам.

Так и бродит Евдоким-бобыль по таёжным урманам да уремам, ищет с ружьём сторожного Степана Матвейча. Скала же Чёрная, которую люди прозвали с той поры Миливонщицей, всё хранит-оберегает в себе Евдокимову дочку, всё ждёт Евдокима-живишника, поскольку отвориться ей суждено только перед ним. И подаёт Найдёна из скалы голос свой печальный, чтобы поскорей отыскался на родимой земле её горемычный отец.

Кирьянова вода

Так ли, не так ли дело-то было, пойдй теперь у ветра спроси. А и не так, да так...

Подрались как-то на крутом яру Фимка с Лёнькою. Чего подрались, сами не знают. Фимка от Лёньки в кусты пятится, одною рукой под носом мажет, другою грозитя:

– Налезешь, ты налезешь... Я к тебе подкрадусь... спихну в омут... там быстро Савватей-барин зачикотит.

– Ой, пупырик! – жмётся со смеху Лёнька. – Пушай Савватей твою бабку чикотит. Брешет она про барина, чтобы пацаны в омут не сигали.

Фимка чуть было не задохся от обиды:

– Сам брешешь! Повылазют глаза мои, когда не видела она того Савватаея. Голый... Зенки, во! Синий! И орет кошкою...

– Когда ж она углядела того Савватаея?

– В тую ж субботу. До бани ещё...

– В сутемы?! – пугается Лёнька.

Фимка хитрить совсем не умеет и потому верит Лёньке.

– Ну. А то...

– Вот те и «ну», – фыркает Лёнька. – То ж мы с Петькой Рэпанном теми сутемками на омуте поспорили: кто на Савватаея страшнейше будет пошибать. Нукало...

– Ври! – только не заревел Фимка. – Рэпанному дед хворостиной в субботу лупцовку давал за Перчиху. Перчиха ещё грозила через ограду: «Если, – шумела, – твоего оглодыша ещё угораздит на моей избе чертомыльню разводить, я больше здря орать не буду. Я до осени подожду...» И подождёт... Кислярихе ж она тою осенью подсвинков в огород напустила? И Рэпанному напустит.

Лёньке стало невесело, но он все-таки петушился:

– Ой, напустила! Побегу вытурять. Да мы ж ей с Петькою, если надо, ещё и не такое сработаем. Она ж со страху помрёт... А то понапридумывала – чужих голубей приманивать. Пушай своих разводит, да и лопаёт. Мы ей...

Лёнька икнул, будто его саданули по затылку, глаза ошалели, и гаркнул он полной глоткой:

– Лыгай, Фимка...

Но блажить-то поздно было. Фимкино ухо уже потонуло в цепких пальцах тётки Перчихи.

– От они, злодеятки, иде стакнулись. О-ой! – подивилась она на Фимку. – И ты, хорёк сопливый, в ихню компанию затесался? Ишшо один голубячий заступник выискался. Я тя щас вот перцем-то натру.

На Лёнькиных глазах Фимке ж нельзя не хорохориться.

– Чо ухо-то крутишь?! Сама глухая, что пим. Крутишь кому попада. Пусти!

– Я тя пушу, я пушу... Я тя щас так пушу, что бабка с маткою цельную неделю тебя собирать будут.

Фимка свое гнёт:

– А неправда? Кто чужих голубей лопаёт?

Перчиха и глазами заморгала:

– Ой, небитый! Давно-ка ты, паря, небитый. Айда к матери, – она потянула Фимку из кустов на тропку, – щас она твою правду оголит да изрисует. Она её тебе, как самовар, начистит.

А и то... Про Лёньку в деревне люди и говорить притомились. Отец его плотогоном был. После смерти отца мать Лёнькина заговариваться стала... – не до сына... Ой, хороший у Лёньки ж был отец... А Лёнька – враг! Но и про него находились добрые души. Нет-нет да и скажет кто:

– Попомните меня: израстёт малец. Ха-ароший из него человек получится.

Забытый Фимкою и Перчихой, Лёнька по-за придорожными кусточками и сухостоем поспешал вровень с ними. Он поглядывал между веток на Перчиху, крался по разнотравью, забегал вперед, а то отставал, прикидывая чего-то... Глаза его ждали и веселились... Нечёсанный вихор колыбался, как петушинный гребень.

Когда же тропка пошла спускаться с лесистого яра к ручью, Лёнька бесом вымахнул вперед и сунулся головою в ноги тётке Перчихе. Перчиха молча перевалилась через Лёньку, потом, хватая воздух руками, через свою голову и с криком покатила в ручей.

Фимка сперва ничего не мог понять. Он всё ещё шупал горячее ухо, тарачил на Лёньку и без того здоровущие глаза. Но, почуяв свободу, крутанулся на пятках и дёрнул галопом в лес, подальше от неожиданного спасителя.

А Лёнька-то и не думал его догонять. Он отряхнул штаны, сунул пальцы в рот и лихо свистнул. Телок, что пил из ручья, поставил свечкою хвост, брыкнул и поскакал на Перчиху. В нём, видать, заговорила телячья прыть.

Скоро Фимкина радость сменилась нудною тревогой. Теперь столько Перчиха насоветует Фимкиной матери, что мальцу легче в омут нырнуть, чем домой воротиться.

И ведь в том самая досада, что Фимка с Лёнькой недруги давние, ещё с прошлого лета, когда Лёнька утопил в омуте Фимкины штаны. Поскольку же, кроме штанов, летом Фимка носил только цыпки да веснушки, так и принудило его Лёнькино озорство с полудня до заката просидеть нагишом в сырых тальниках. Дождаться ж у омута полной темноты и большой не вытерпел бы. Так не успел тогда Фимка в закатных лучах вынырнуть из тальников, как сквозной свист прямо каленою стрелою продел его с головы до пяток. Лёнькину потеху подхватили другие озорники, да так дружно, что в деревне заголосили спросонья заполошные петухи.

Метнулся тогда Фимка блёклою звёздочкой через лощину и погас в самой что ни на есть густой крапиве. Скрыться тогда больше некуда было. И теперь кожа у Фимки вздувается волдырями, только вспомнит он про ту крапиву. Да и материны примочки оказались тогда не слаще. Но самое обидное, что Лёнька, заливаясь хохотом, орал Фимке вдогонку:

– Эй, пупырик! Вернись! Пуп потерял.

Этого-то «пупырика» и не мог Фимка Лёньке простить. Сонными ночами, что есть мочи, лупил Фимка Лёньку нещадно. А вот при свете получалось обратное. Однако Фимка упорствовал и не думал покориться Лёньке. За эту-то неугомонность втайне Лёнька сильно уважал Фимку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.